РИТА БУЛЛВИНКЕЛ



CORPUS

КЕМ БЫ Я БЫЛА, ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛА СОБОЙ

18+

Глубокий талант: экспериментальный в лучшем смысле этого слова.
LOS ANGELES REVIEW OF BOOKS

Кем бы я была, если бы не была собой

Рита Буллвинкел

Аннотация
Рита Буллвинкел. Кем бы я была, если бы не была собой
Арфа
Филюм
Черный язык
Гори
Истинные зомби
Кем бы я была, если бы не была собой
Неф
Руки над головой
Сгорбленный
Декор
Неравнодушные люди
Жареное тесто
На юге наш главный враг – песчаная буря
Время идет
Полный рот рыбы
Что построила девушка
Шум
Благодарности

Аннотация

“Кем бы я была, если бы не была собой” – это дебютный сборник рассказов Риты Буллвинкел: книга, в которой реальность постоянно ускользает и принимает самые причудливые формы. Здесь появляются призраки и медиум, одержимая арфами женщина и школьницы, считающие себя растениями, заключенные ГУЛАГа, влюбленные подростки, одержимая волосами вдова, змей, притворяющийся грушей, и даже плотоядная церковь. Эти бесконечно странные, порой гротескные, но при этом трогательные и пугающие истории соединяют в себе абсурд и глубокую человечность. Герои сборника испытывают возможности собственного тела, ставят под сомнение привычные представления о реальности и пытаются разобраться в самых фундаментальных вопросах бытия – природе сознания, любви, страха и одиночества.

Рита Буллвинкел
Кем бы я была, если бы не была собой



© Rita Bullwinkel, 2016
All rights reserved
© Е. Гершензон, М. Губарь, перевод на русский язык, 2026
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2026
© ООО “Издательство Аст”, 2026
Издательство CORPUS ®

Арфа

Упарня, с которым я встречалась в колледже, был дядюшка, работавший в малайзийской нефтяной компании. Этот дядюшка частенько ездил в Малайзию по долгу службы. А потом внезапно умер, и оказалось, что там у него были жена и дети. И здесь у него были жена и дети. Мой парень тогда сказал, что дядюшка разделился на две половинки. Возможно, он переодевался в самолете. Трудно сказать. Никто никогда не ездил с дядюшкой в Малайзию, и никто никогда не видел его малайзийскую жену.

Эту историю я вспомнила однажды утром по пути на работу. Чтобы добраться до нее, нужно было долго ехать по живописному шоссе. Когда я только перебралась за город, я эту дорогу ненавидела. Но потом она стала частью меня. В пути я могла побыть наедине с собой и послушать музыку, которая не понравилась бы мужу, или музыку, о которой мужу не стоило даже знать.

Эту историю я вспомнила, когда передо мной произошла авария. Всего в двух машинах от меня. Достаточно близко, чтобы я не попала в

начинавшуюся пробку, но мне пришлось вильнуть в сторону, чтобы не столкнуться с другими виляющими машинами. В зеркале заднего вида отразилась груда металла, разбитое лобовое стекло и две головы: одна, неподвижная, на руле уничтоженной машины, другая, женская, на пассажирском сиденье. Женщина была в платке и с открытым ртом. Кажется, она кричала. Она смотрела куда угодно, только не на человека рядом с собой, чья голова лежала на руле. Это малайзийская жена, подумала я. Вот почему она не смотрит на мужа. Ведь теперь у нее начались проблемы.

Хоть я и вспомнила о малайзийской жене, как только увидела аварию, вспомнить ее мужа мне не удалось. С того времени, как мне впервые рассказали историю про дядюшку, прошло лет десять, и я далеко не сразу сопоставила факты. Само воспоминание было не столько неприятным, сколько любопытным. Я попыталась вспомнить свои первые впечатления от этой истории. Я не стала звонить мужу и рассказывать об аварии или воспоминании. К тому же само воспоминание было слишком странным, чтобы не вызывать тревоги. Очень уж странно — и даже грустно — о таком вспоминать. Не то чтобы я очень уж

тревожилась. Просто не хотелось, чтобы меня заставляли об этом говорить, особенно если учесть, что я так и не решила, чья судьба беспокоит меня больше: распополамленного дядюшки или его малайзийской жены.

В день той аварии я приехала на работу вовремя. Я секретарь музыкального факультета в крупном университете. По приезде я зашла на кухню, поставила обед в холодильник, а затем отправилась за водой. По пути к фонтанчику я услышала, как настраивают арфы.

Я почти ничего не знаю о музыке, но мне нравится работать в месте, где ее создают. Мой кабинет находится прямо рядом с музыкальными классами. Я постоянно слушаю трубы и литавры.

Но вот арфы — это что-то новенькое. Пару дней назад я видела, как прикатили целую дюжину арф. Они были гигантские. В одиночку такую не поднять. Их пришлось перевозить на тележках. На каждой арфе были большие круглые украшения, напоминавшие короны. Будто сверху глядели маленькие короли и королевы.

Я слышала арфу и раньше, но звуки, которые я уловила в коридоре, показались мне неземными. Я словно изменилась: человек, что слушал, как настраивают арфы, уже не был тем человеком,

что складывал в холодильник обед. Я ощущала подобное на больших концертах. Там музыка всегда громкая и будоражащая — от той музыки я становилась человеком, способным кого-нибудь ударить. Но человек, которым меня сделали арфы, не мог никого ударить. У арфа-меня, возможно, вообще не было для этого рук. Душу будто погрузили в арфа-тело — некую оболочку, созданную из вибраций и растворяющуюся в людях и предметах вокруг. Слушая арфы, я не чувствовала ни злости, ни грусти, ни тревоги, ни возбуждения. Я лишь чувствовала себя кем-то другим.

Вдруг раздался голос преподавателя, и арфы перестали настраивать. Воцарилась тишина, и я пошла дальше. Я села за свой стол и начала думать об арфа-себе и малайзийской жене.

Хоть я так и не вспомнила, кто рассказал мне эту историю, зато вспомнила, о чем подумала, когда впервые ее услышала. Я подумала о малайзийских детях — детях малайзийской жены и ее распополамленного американского мужа. Мне стало жалко малайзийских детей, ведь им придется жить без отца. Мне стало жалко малайзийскую жену, ведь ее муж — и, в моем воображении, главный источник ее дохода — умер, и теперь ей придется заботиться о себе и о детях

совсем одной в каком-то малайзийском городе. Я не предполагала, что у малайзийской жены могут быть родители или братья с сестрами. Я решила, что она осталась совсем одна. Представила, как ее наверняка обманули. Она была молодой, доверчивой — такие женщины всегда думают, что все будет хорошо. Такие женщины выходят за мужчин, которые почти не говорят на их языке. Возможно, доверчивость сделала ее восприимчивой к религии. Может, она была набожной. Может, носила платок. Может, любила американские фильмы. Может, ее муж был похож на какого-нибудь знаменитого американского актера. А может, и не был, но он точно был американцем, и этого уже было достаточно.

Я села за стол и откинулась на стуле. Обзвонила отели и забронировала номера для преподавателей, выступающих за границей. Проверила почту факультета и написала профессорам с переполненными почтовыми ячейками. Написала на кафедру о предстоящем концерте. Написала на кафедру о приглашенном лекторе. Написала на кафедру о выпускных концертах. Пообедала.

Обедала я в парке на скамейке. Я вытянула ноги и грелась на весеннем солнце. В марте было все еще уместно надевать колготки, но я не надевала.

Я доела сэндвич, посмотрела сквозь листву на солнце и в порыве внезапной смелости решила лечь. Я закинула ноги на скамейку, вытянулась во весь рост и закрылась от солнца руками. Сквозь листву пронесся ветерок, и волоски на руках встали дыбом. Однако чем дольше я лежала, тем становилось теплее. Солнце согревало мне лицо и ноги. Хотелось и дальше лежать на скамейке в парке и притворяться человеком, для которого ничего не стоит лечь в общественном месте, которому не нужно для этого ждать порывов внезапной смелости, вызванных воспоминаниями о малайзийской жене.

Наконец я встала и пошла обратно. В лифте я ехала одна. Мне хотелось, чтобы зашел кто-нибудь еще — чтобы я наткнулась на кого-то знакомого и он бы сказал: «Привет, Хелен, как ты?» — и тогда я бы рассказала ему про аварию. Мне все еще не было грустно, но ведь сегодня я почти наверняка видела чью-то смерть. Голова мужчины на руле выглядела не очень-то живой. И я не представляю, как положено себя вести в таких ситуациях. Бывает трудно понять, что считается социально приемлемым. Поскольку я секретарь музыкального факультета, я редко разговариваю с людьми, если только какому-то

преподавателю не нужно распечатать особенно внушительную пачку документов. И даже в таких случаях наше общение быстро заканчивается. У них есть дела. Да и у меня тоже.

Я вышла из лифта в коридор, где располагался новый кабинет для занятий на арфе. Я посмотрела в маленькое окошко и увидела, что внутри пусто. Тогда я вошла и села за арфу.

Вблизи она больше походила не на инструмент, а на крупный предмет мебели — что-то вроде большой декоративной вешалки для шляп или недостроенного стеллажа. Но при этом с ней хотелось танцевать, как делают некоторые контрабасисты, размахивающие своими инструментами во время особенно эмоциональных грувов. Я задумалась, почему арфисты всегда сидят. Может, сидячее положение за арфой — лишь пережитки западной цивилизации, как, например, представление о том, что детей нужно рожать лежа. Может, за арфой нужно стоять. Может, с арфой нужно танцевать. Может, они все неправильно поняли. Я провела пальцем по каждой струне и потрогала резьбу на шейке.

Я вернулась к своему столу и села. Собрала комплекты документов для писем о зачислении. Заказала музыкальные журналы для факультет-

ской библиотеки. Скрепила степлером учебные планы для нескольких классов. Разложила по алфавиту сотни партитур из картотеки профессора Робинсона. Протерла картотечный шкаф влажной тряпкой. Позвонила мужу.

— Привет, — сказал муж. — Как прошло утро?

— Прошло хорошо, — ответила я. — Чем сегодня поужинаем?

— Свиными отбивными, — сказал муж.

По пути домой пробок не было. Над дорогой склонились деревья с распускающимися почками, на черных валунах отражались белые солнечные блики.

Я проехала место, где произошла авария. Обломки уже убрали. Я задумалась, куда увезли тело человека, чья голова утром лежала на руле. Задумалась, куда увезли его жену. Я представила морг, где лежал ее муж, — ряды холодильников-картотек. Представила картотеки своего музыкального факультета, заполненные распополамленными телами вместо партитур, картотечные шкафы профессора Робинсона, которые выдвигаются в бесконечно длинные лотки. Представила, как открываю шкаф и протираю пространство между двумя половинками тела влажной тряпкой. Представила, как закрываю шкаф и возвращаюсь

в кабинет с арфами. Там студенты настраивают инструменты. Я впитываю в себя звуки арф и становлюсь арфа-собой.

Я вылезла из машины, зашла в дом, сняла куртку и выпила стакан воды. Затем вынула ноутбук, поискала предстоящие выступления арфистов и увидела, что завтра вечером играет оркестр кельтских арф. Я купила два билета.

Я решила принять душ, пока муж не вернулся домой, пошла в ванную и разделась. Горячая вода хлынула мне на голову и залила глаза. Я стояла неподвижно. Мне нравится ощущать на себе потоки воды, нравится, как она течет по закрытым векам. Я запрокинула голову и позволила воде проникнуть в рот. Я сделала глоток горячей воды и представила, как она движется внутри меня, пока снаружи горячая вода повторяет изгибы моего позвоночника.

В ванной я поняла, откуда знаю о малайзийской жене. Я вдруг очень четко вспомнила историю бывшего парня. Даже вспомнила цвет дивана, на котором он сидел, когда ее рассказывал. Темно-зеленый. С нами были друзья. Мой парень наклонился ко мне и нервно пошутил о своей семье. А потом рассказал историю о распополамленном дядюшке и резко замолчал, будто

собирался заплакать. Я сказала, что уже слишком поздно для подобных разговоров, ободряюще улыбнулась и попросила проводить меня домой. Потом он остался на ночь. У меня не было кровати, и матрас лежал прямо на полу. Когда мы легли, он был необычно молчаливым: то ли потому, что выпил, то ли потому, что его расстроила собственная история. Я не знакома была с его родителями, поэтому не знала, кого, по его мнению, эта история порочит. Может, он чувствовал что-то вроде вины или ответственности за то, что был с тем дядюшкой одной крови. А может, испугался, что проговорился о потомственном безумии, которое передается каждому члену его семьи, и теперь я не смогу смотреть на него прежним взглядом. Он лежал ко мне спиной. По его размеренному дыханию было непонятно, спит он или нет. Я коснулась пальцами его головы, провела за ухом, спустилась по позвоночнику. Я зарылась руками ему в волосы и прижалась губами к затылку. Так мы и уснули. Я вспомнила, как проснулась утром, обнимая его голову.

Из душа потекла холодная вода. Я выключила воду и услышала, как муж в соседней комнате нарезает овощи.

Я вылезла из душа, высушила волосы и оделась

к ужину. Затем вышла из спальни и поцеловала мужа в щеку. Еда выглядела великолепно. В салат муж положил козий сыр, засахаренный пекан и клюкву. Свиные отбивные он обжарил и полил соусом. Картофельное пюре с зеленым луком подал отдельно. Я села за стол и посмотрела на мужа.

— Еда выглядит божественно.

— Спасибо, — сказал муж. — Как прошел день?

— Ну, — сказала я. — Все было хорошо, но с коллегой случилось кое-что неприятное. Умер ее брат.

— Боже мой, — сказал муж. — Это ужасно. Он был молодой?

— Да, весьма. Ему было тридцать семь. Он был инженером на нефтяной вышке и много работал в Малайзии.

— От чего он умер? — спросил муж.

— Он умер от сердечного приступа.

— Он умер в Малайзии или здесь?

— Он умер в Малайзии. Родственники еще не решили, кто поедет за телом.

— Думаю, нам следует позвать ее семью на ужин, — сказал муж.

— Ты прав.

После ужина муж ушел читать, а я помыла по-

суду. Затем включила музыку и тоже попыталась сесть за чтение, но не смогла сосредоточиться и в конце концов надела теннисные туфли, чтобы сходить прогуляться.

— Пойду погуляю, — сказала я мужу.

— Ты в порядке? Хочешь, я пойду с тобой?

— Думаю, мне лучше прогуляться в одиночестве.

Я надела толстовку и тихонько закрыла за собой дверь. Пройдясь по нашей улице, я пнула несколько веточек, которые упали на дорогу.

Я подумала о распополамленном дядюшке и попыталась вспомнить что-нибудь о бывшем парне. Мы встречались недолго. Я вспомнила, что он был очень неуверенным в себе и постоянно пытался набить себе цену. Казалось, он очень много всего чувствовал, а выражать эти чувства не умел. Но тогда он был совсем молодым. Может, с тех пор все изменилось.

Я прогуливалась по своему району и вдруг подумала, что он мог мне соврать. Что не было никакой малайзийской жены. Что он придумал эту историю, чтобы привлечь внимание. Кажется, он был из тех парней, которые могли бы сделать что-то подобное — например, видя, что девушка больше не заинтересована в том, чтобы с ним

спать, придумать, что его бил отец: просто чтобы вызвать жалость. Он был из тех парней, которые не боятся показаться сломленными и надеются пробудить у своих возлюбленных желание его исцелить.

Я вспомнила, как выглядело лицо моего парня, когда он рассказывал эту историю, и попыталась вычислить, была ли в нем хоть капля искренности. Решила, что не могу сказать наверняка или, может, просто не могу как следует вспомнить его лицо. А затем я решила, что это и не важно. Разумеется, малайзийская жена существовала. По крайней мере, в моем воображении и, вполне вероятно, среди обломков той машины, что я видела утром.

Я вернулась домой и постирала белье. Затем разделась, легла в постель и немного почитала. Пришел муж и лег рядом. Он уснул.

Я тоже попыталась заснуть, затем встала и пошла чего-нибудь выпить. Я сидела в темной кухне. Небо было ясное и потихоньку светлело. Я нарисовала на салфетке наши с мужем портреты и попыталась разобраться, к чьей же судьбе я особенно неравнодушна: распополамленного мужа или малайзийской жены.

Быть неравнодушным к кому-то — не обяза-

тельно значит соглашаться с ним или считать морально правым. Быть неравнодушным — значит интересоваться. Малайзийская жена точно не жила хорошей жизнью. Она вышла замуж за человека, который сделал ей детей, но проявлял к ним удивительное равнодушие. Он умер и оставил их одних. Я предположила, что малайзийская жена была мне интересна лишь как представитель своего общества. Как она жила с половинкой мужа? И какой ее жизнь стала после его смерти? Ее участь была ужасна, но я решила, что меня это не интересует. Меня интересует распополамленный муж и методы, с помощью которых он себя распополамил. А может, смутное очертание зловещей идеи о том, что некоторых людей нужно разделять на половинки. Что настоящая любовь к одному-единственному — всего лишь распространенное заблуждение. Так что я решила, что не могу оставаться равнодушной к распополамленному мужу и что я его ненавижу.

Тогда я впервые за день подумала о его американской жене. О квартире, в которой она жила со своей половинкой мужа, об их телевизоре, о счетах за воду и о том, как они вытирались одним полотенцем. Я задумалась, продолжила она любить его после смерти или нет. Любить

ту половинку, что жила с ней. Задумалась, как и когда она получила его тело. Задумалась, какими были похороны и были ли они вообще. На месте американской жены я бы разрезала тело вдоль и отправила одну половину малайзийской жене. Все по-честному.

В раннем утреннем свете я пришла к выводу, что ненавижу распополамленного мужа не за то, что он оставил двух жен вдовами и нескольких детей сиротами, а за сам факт того, что он был распополамленным. Такая ненависть просыпается в людях, когда их мораль подвергается сомнению, подумала я. Я ненавижу распополамленного мужа за то, что он ненавидел мой образ жизни.

Я вернулась в комнату, где все еще спал мой муж. Переоделась на работу и поцеловала его в щеку. Я прошептала ему на ухо:

— Звонил профессор Робинсон. Там что-то срочное. Нужно приехать на работу пораньше.

— Хорошо, — сказал муж. — Но пусть они тебя не задерживают. Сегодня вечером хочу приготовить утку с фасолью.

Я взяла тост, вышла из дома и села в машину. Позвонила на работу и попала на автоответчик, как и предполагала. Я оставила сообщение: “Здравствуйте, профессор Робинсон, это Хелен.

Извините, что не предупредила заранее, но я сегодня не смогу выйти на работу. Вчера вечером у мужа неожиданно умер брат, и мне очень нужно посидеть с ним дома. Думаю, завтра я смогу быть на работе, но, если что, дам вам знать".

Повесив трубку, я поехала в город. Я проехала по шоссе — мимо отсутствия обломков. В городе я оставила машину на подземной парковке, зашла в торговый центр и прогулялась по магазинам. Я примеряла белье, платья, туфли и пальто. Купила все, что захотела. Вышла из торгового центра в новых серьгах, новом платье и новых туфлях. Затем пошла в парк и легла на скамейку. Солнце грело сильнее, чем накануне. Я отправилась на обед в хороший ресторан. Заказала французский луковый суп и тушеную баранину. За соседним столиком сидел симпатичный мужчина примерно моего возраста.

— Как баранина? — спросил он.

— Вкусно, — сказала я. — Хотите попробовать?

— Не отказался бы. Не возражаете, если я пересяду за ваш столик?

— Пожалуйста.

Подошел официант, и мы попросили перенести тарелку мужчины на мой стол. Я взяла его вилку и отрезала для него кусок своей баранины.

— Потрясающее мясо, — сказал мужчина.

— Это вы еще суп не пробовали. — Я достала из хлебницы кусок хлеба и окунула в миску. Убедившись, что он хорошо пропитался бульоном и покрылся сыром, я передала хлеб мужчине. Он взял его и сказал:

— Вы правы. Суп лучше баранины. Я мог бы съесть несколько порций. В следующий раз.

Мы договорились встретиться в том же ресторане за ужином. Я пригласила его пойти со мной на концерт арфы. Мы хотели поужинать раньше, чтобы успеть на настройку арф. Я рассказала о том, что работаю в музыкальном здании, что, слушая, как настраивают арфы, чувствую себя совсем другой — другой собой, что это прекрасно, что ему тоже наверняка понравится и что нам точно нужно сходить на концерт.

Мужчина согласился и даже выглядел искренне заинтересованным. Мы вышли из ресторана, и он ушел обратно в свой офис. В трех кварталах от меня был кинотеатр. Я дошла до него и посмотрела фильм — по сути, это был “Гамлет”, но действие происходило в Детройте. Сиденья в кинотеатре были липкими, ткань рукава приклеилась к подлокотнику, когда я попыталась поднять руку. От экрана исходил синий свет и красиво

подсвечивал лица зрителей. Мне казалось, что в кинотеатре моя кожа выглядит лучше. Если бы я только могла стать арфа-собой с киновнешностью, подумала я. А может, я и правда могла бы.

Во время просмотра я вспомнила о распополамленном муже, чья судьба меня так заботила. Я задумалась, какую из жен он любил больше. Возможно, если он женился на малайзийской жене после американской, то малайзийскую любил больше. А может, ему на руку сыграла география. Мне вдруг захотелось, чтобы муж сидел со мной в кинотеатре. Чтобы в темноте он положил руку мне на бедро.

Из кинотеатра я вышла уже в сумерках. Я постояла под фонарным столбом и понаблюдала за прохожими. Затем достала из кармана телефон и позвонила мужу. Он спросил:

— Хелен? Ты едешь домой?

— Нет, — сказала я. — У нас тут завал. Надеюсь, не придется сидеть всю ночь. Оставь мне немного утки. Может, в духовке она не успеет остыть. Я вернусь, как только смогу.

Повесив трубку, я снова пошла к ресторану. Пришла на полчаса раньше, поэтому заказала в баре вино. Я задумалась, почему никогда не спрашивала парня из колледжа о дядюшкиных детях.

Считала тогда, что дети не имеют значения? Или всегда считала, что дети не имеют значения?

Сидя в баре и попивая вино, я размышляла о том, что распополамленный муж заботит меня больше детей, потому что он мне в новинку. Он был редкой двухголовой змеей, о которой вспоминали лишь поздней ночью, когда на вечеринке все становятся слишком серьезными и вот-вот готовы разойтись по домам. Между тем осиротевшие дети — весьма банальный повод для жалости.

Мне стало интересно, что бы мой муж подумал о распополамленном муже, но я, конечно, не собиралась его об этом спрашивать. Порой слова, которые человек, по вашему мнению, должен сказать, оказываются куда правдивее, чем слова, которые он скажет на самом деле. Мой муж, вероятно, беспокоился бы о том, чтобы никто не остался обделенным. Он бы обязательно попытался подружить малайзийскую жену с американской. Какое мерзкое желание. Кто захочет встречаться с владелицей половинки мужа, которого ты считала своим целиком? Мой муж просто слеп в своем оптимизме, и только он мог бы представить такую встречу. Я была рада, что не позвала на концерт мужа. Он бы, вероятно,

весь вечер утомлял меня размышлениями о технологиях производства театральных сидений.

Я поставила бокал. Пришел мой обеденный знакомый, и мы сели за приятным столиком у окна. Он сказал, что его зовут Гек, и я ответила, что в это сложно поверить.

— Как Гек Финн, — сказала я.

— Точно, — сказал Гек.

Гек подробно рассказал мне, как прошел его день на работе веб-дизайнером. А я подробно рассказала Геку, как прошел мой день на работе секретарем музыкального факультета. Я рассказала о поданных мной заявлениях, о напечатанных протоколах встречи сотрудников и о забронированных авиабилетах для квартета профессора Робинсона.

Гек подробно рассказал мне о том, как писал код, и попытался представить это занятие более значительным, чем оно есть на самом деле. Я нашла это глупым. Гек стал приятнее, когда начал рассказывать о семье. Его мать, пожилая полячка, живет в Куинсе. Судя по тому, как он над ней подшучивал, он по-настоящему ее любит. Я спросила, можно ли как-нибудь зайти к ним на вареники, и он ответил: “Конечно”.

За ужином мы заболтались, поэтому доехали

на такси, а затем поспешно заняли свои места в концертном зале. Начали ввозить первые арфы. Музыканты аккуратно вытащили их из больших чехлов и стали настраивать. Всего было восемнадцать арф — великолепное зрелище. Как только я услышала звуки настройки арф, ко мне вернулся восторг. Я желала только одного: чтобы эти звуки окружали меня всегда. Пока настраивались арфы, от меня никто ничего не требовал. Я вспомнила обо всем том, что постоянно нужно от меня мужу. Мне приходится разговаривать с ним, готовить вместе с ним. Мне приходится использовать слова, чтобы выражать свои чувства. Иногда мне приходится успокаивать мужа. Проще всего заниматься с мужем любовью. Это никогда не было утомительно или трудно. Я задумалась, может, нам с мужем стоит перестать разговаривать? Возможно, стоит оставить только прикосновения и чувства. Может, это самый искренний способ быть с кем-то. Может, нам с мужем нужно просто избавиться от слов, и тогда мы станем по-настоящему близки. Вдруг я поняла, что меня действительно возмущает: для простого общения мне приходится бросаться в мужа словами. Почему нельзя просто взять и передать ему само чувство? Почему нужно использовать посредни-

ки-слова, которые бесчисленное множество раз уже использовали до меня и будут использовать после?

Пока арфы настраивались, Гек хотел продолжать разговор.

— Тс-с, — сказала я Геку. — Я слушаю.

Он, кажется, смутился, но не слишком расстроился. Просто закрыл глаза и попытался стать арфа-Геком, но я видела, что ему не очень-то нравится.

Наконец арфы перестали настраиваться и заиграли по-настоящему. Мне понравился глубокий, резонирующий звук струн, хоть игра и не превращала меня в другую себя.

После концерта я поцеловала Гека на прощание и пообещала, что в следующий раз мы пойдем слушать рок. А затем отправилась в долгий путь до подземной парковки. Я брела по безлюдным улицам, усеянным мусором и листовками. Каждые пару кварталов я проходила мимо просыпающихся баров.

В одном из переулков двое парней играли в карты. Им было лет по пятнадцать, они наверняка жили в одном из домов поблизости. Тот, что выглядел помладше, мне свистнул. Он был похож на молодую версию Гека и моего мужа

одновременно.

До машины я добралась очень уставшей. Я много ходила и давно не спала. Я села в машину и поехала по пустынным улицам, бесцельно петляя по городским кварталам. Затем, когда глаза начали слипаться, я нашла ближайший выезд на шоссе и поехала по привычной дороге домой.

Люблю ездить по шоссе, когда вокруг никого нет. Может, мне начать и на работу ездить по ночам? Я мчалась по шоссе, минуя деревья и скалы, которые днем выглядели просто великолепно. Ночью они были не такими красивыми: из навеса от палящего солнца деревья превратились в темный плащ. Они тянули свои черные руки к дороге и грозились поглотить меня. Я наклонилась вперед и положила подбородок на руль, чтобы видеть листву сразу по обе стороны. С тоской потрогав стерео, я подумала, что нужно будет найти запись настройки арф. Возможно, стоит подружиться с преподавателем арфы и убедить его сделать запись в благотворительных целях. А возможно, преподавательница — женщина, с подозрением относящаяся к благотворительности. Мы бы стали с ней настоящими подругами, и я бы рассказала ей об арфа-себе.

Приблизившись к месту аварии, я сбавила

скорость. Кто-то поставил на обочине крест и положил букет лилий. Я остановилась посреди трассы и направила свет фар на мемориал. От креста протянулась длинная тень. Вокруг лежали другие подношения.

Несколько минут я сидела в машине в полной тишине, а затем решила съехать на обочину и рассмотреть все получше. Спрятав машину под ближайшим деревом, я прошла пятьдесят футов до мемориала. Вблизи я увидела, что цветов там действительно много. Повсюду были разбросаны амариллисы и гипсофилы. Казалось, они все были частью одного букета, который потом разворошил ветер. В темноте гипсофилы были похожи на комочки облаков.

Я смотрела на мемориал в память о человеке с головой на руле, человеке, который разбился и заставил меня вспомнить о распополамленном муже. Человеке, который разбился и заставил меня вспомнить о малайзийской жене. Я пыталась понять, каким образом этот мемориал связан с распополамленным мужем из моего воображения (и связан ли вообще). Может ли каждый муж в какой-то степени быть разделенным пополам? Я решила, что мне нужно обратиться за советом к распополамленному мужу, и села рядом с ме-

мориалом. Сначала я сидела, подтянув ноги к груди, и обращалась к кресту перед собой. Затем устала и легла. Я раскинула ноги и руки, словно решила сделать снежного ангела, и попыталась разорвать себя изнутри. Я представила, как все мои органы смещаются в одну из сторон, а затем раскрывается грудная клетка. Ртом я начала издавать звуки настройки арф и почувствовала, как распополамленный муж помогает мне сформировать два новых тела. Его руки схватили меня за ребра и потянули. Я продолжала напевать, пока не почувствовала, что разделение завершилось. Теперь я была распополамлена и счастлива. Я усадила обеих себя обратно в машину и завела двигатель. Радио заиграло тяжелый бит. На меня нахлынуло облегчение. Тогда я поняла, что могу делать, что захочу. Что причиной моей ненависти к распополамленному мужу было не то, что он ненавидел мой образ жизни, а то, что я ему завидовала. Теперь же, когда я сама разделилась на две половинки, обиды не осталось.

Я поехала домой и легла в постель к мужу. Рано утром я его разбудила, и мы занялись любовью. Он приготовил мне сытный завтрак из яиц и бекона. Перед тем как пойти на работу, я остановилась в дверном проеме и запустила руки ему в

волосы. Я притянула его тело к себе и положила голову на плечо.

По пути обратно в город я слушала радио — классическую станцию, где в основном передавали Брамса. В двух кварталах от работы на большом перекрестке меня остановил красный светофор. По переходу шла пара. Женщина была в платке, а мужчина в костюме. Они совсем не спешили. Когда машинам загорелся зеленый, эта пара шла прямо передо мной. Они шли очень медленно. Я хотела, чтобы они поторопились. Они не понимают, что находятся в городе? Людям нужно по делам. Я не могу стоять тут весь день. Когда стало ясно, что, если их не поторопить, они и правда будут переходить весь день, я громко просигналила и сделала большие глаза. Они подпрыгнули от неожиданности, уставились на меня сквозь лобовое стекло и пошли быстрее.

Филюм

Я был из тех мужчин, что чистят уши. Я была из тех женщин, что не любят собак. Мы жили вместе в доме на улице цвета асфальта. Я говорил, что я о тебе думаю. Я говорил, чтобы ты оставила меня в покое. Это был не твой дом. Мне никогда не нравилась наша улица. Она пахла сиропом от кашля. Мне хочется жить там, где приятно пахнет.

Я был из тех мужчин, что ходят на заседания совета директоров. Я была из тех женщин, что любят сыр гауда. Мы жили вместе в квартире рядом с гастрономом. Я украл из твоего кошелька деньги. Я знал, ты ненавидишь, как я одеваюсь. Я выскользнул ночью из дома и отправился в Гарлем. В городах можно пойти куда угодно и остаться незамеченным. Мы оба знали, как это облегчает игру. Нам обоим нравилось играть.

Я была из тех женщин, что любят плавать в бассейнах отелей. Я был из тех мужчин, что любят слушать пьесы. У нас не было детей. Ты слушал Моцарта и Баха и всегда говорил, что любишь классическую музыку, но я знала и ты знал, что

других композиторов ты просто не знаешь. Мне нравится Джон Леннон. Он не композитор. Хотя кто сказал?

Я был из тех мужчин, что выходят из дома по ночам, хватают себя за волосы, падают на колени и плачут. Я была из тех женщин, что отправляют на переработку каждый кусок мусора, потому что при мысли о том, что я медленно убиваю планету, мне казалось, будто кишки поднимаются к горлу и вылезают изо рта. В основном мы цеплялись друг за друга из страха.

Я была из тех женщин, что смотрят в окно и видят парад слонов, кошек и свиней. Я был из тех мужчин, что делят свою еду на такие мелкие кусочки, что они становятся размером с изюм. Мы жили вместе в самодельном домике в Вермонте. Мы оба знали, что общение не для нас. Ты не разговаривал целый год. Это слишком долгий срок?

Я была из тех женщин, что вырезают стрелы из камней, кладут змей в рагу и с тоской смотрят на небо. Я был из тех мужчин, что пьют сок через трубочку и готовят столько великолепных блюд, что могут понравиться кому угодно. Мы оба сгнили в песках отдаленного пляжа. Наша кожа слезла с наших тел, а солнце выбелило то,

что осталось, затем наши останки нашли дети и превратили в игрушки. Вокруг замков из наших костей выкопали рвы, а вызванные луной приливы подходили так близко, что вода стучала в двери наших мертвых тел. Ты хотел уйти с луной. Я была рада остаться в песках. Твои желания все равно не имели значения, потому что в конце концов нас обоих забрало море.

Черный язык

На стене была розетка, которую мама велела не трогать. Проволочные внутренности вываливались из ничем не прикрытой дыры. Провода были похожи на черные спагетти. Когда мама вышла из комнаты, я подошла к розетке и нагнулась так, чтобы голова оказалась вровень с путаницей проводов. Осторожно придвинулась поближе, зажмурилась и высунула язык. Мой старший брат мне однажды рассказал, что кто-то из двоюродных лизнул зимой железный столб и приклеился к нему языком. Язык коснулся проводов, и я подумала: спагетти. Когда язык обгорел дочерна, я его втянула и схватилась руками за подбородок. Я помню, что подумала: как легко все ломается. Я помню, что подумала: зачем я так сделала, я же знала, что это плохо кончится.

Из ушей сочились капельки белого гноя, а ногти как будто отслоились от пальцев. Было странно, безжизненно тихо. Я оглохла.

Я побрела по двору и зашла в сарай, где хранила свои сокровища. Раскопала шкатулку и открыла ее. Внутри было зеркало.

Через много лет, уже взрослой, я занималась спортом, от которого все время ломались пальцы. Чаще всего ломались самые маленькие — мизинцы и безымянные.

Все врачи говорили, что такие мелкие косточки не вправляют, поэтому нужно просто примотать их к остальным, несломанным пальцам и по вечерам опускать в ванночку со льдом. В результате руки у меня стали как весла. Я приматывала сломанные пальцы к целым белой водостойкой лентой. Сейчас, спустя десять лет после ломания пальцев, я представляю себе, что, если их вскрыть и отодвинуть кожу, покажется кость, сплошь покрытая извилистыми трещинами, как долины на карте — петляющими реками. Я до сих пор чувствую эти трещины, когда сжимаю кулаки.

Тем летом, когда у меня почернел язык, родители строили нам новый дом. Мы, дети, были в таком возрасте, что вынужденная смена школы их не смутила. Они купили одноэтажный дом в часе езды от города. Мы переехали, а через неделю они разобрали крышу. Я спала в своей будущей комнате на надувном матрасе. Если по прогнозу был дождь, отец влезал на стремянку и натягивал над всеми комнатами огромные полотнища голубого брезента. Из-за этого брезента

у всех нас был такой вид, как будто они под водой. Но в основном по ночам над нами были только звезды и птичьи крики. Мама сказала, что у нас ремонт “с проживанием”. Кажется, ничего веселее, чем этот ремонт с проживанием, с нами не случалось. Как будто бесконечный поход, только еда получше. Почти никаких правил. И все стали гораздо добрее друг к другу — потому что строили вместе. Мы видели, как дом растет с каждым днем, расползается, как грибница, благодаря новой отцовской электропиле и кухне, которую он пристраивал сзади. Мне казалось, что дом так и будет расти, если я ему велю. Я мечтала, чтобы ремонт с проживанием длился вечно. Чтобы у меня все теперь было с проживанием. Баскетбольный матч с проживанием, дни рождения с проживанием, салки в бассейне с проживанием вместе с друзьями с проживанием.

— А можно у нас будут друзья с проживанием? — спросила я у мамы.

— Это называется коммуна, — ответила она. — Когда вырастешь, можешь себе устроить.

Мой черный язык превратился в гигантского слизняка, вроде тех, которые водятся в океане, с белыми точками на спине и скользкой кожей. Он перестал помещаться во рту, поэтому пришлось

разомкнуть губы и свесить его наружу. Чем толще он становился, тем труднее в меня проходил воздух. Горло было как пещера, где лежал мертвый Иисус, с огромным перекатывающимся камнем при входе. Я помню, как говорила себе: не дай камню закрыть вход, не переставай дышать. Я легла на пол сарая и засунула в рот два пальца. Я придавила пальцами язык. Я почувствовала, как воздух входит в меня и выходит обратно, и представила, как выгляжу с высоты — сдутая, сморщенная.

Я всего раз в жизни попадала в серьезную аварию. Я ехала по шоссе, и начался дождь. Образовалась пробка, скорость снизилась с семидесяти до нуля. Я остановилась вдоль ленты красных тормозных огней. И тут поняла, что сейчас в меня врежется другая машина. Ее было видно в зеркале заднего вида. Я подумала: он едет, он не останавливается, мчится прямо на меня, куда же денется мое тело? Тело довольно сильно подалось вперед, а потом подушка безопасности меня вырубила. Я пришла в себя в луже собственной крови. Она все еще лилась из носа прямо на белый шар передо мной, когда я услышала, как дождь хлынул сквозь разбитое лобовое стекло прямо мне на макушку.

Мой брат всегда плохо переносил вид крови. Когда его жена рожала, он потерял сознание, как только из нее начало хлестать. Говорят, для мужчин это довольно обычное дело; даже менее кровавое и жестокое зрелище, чем роды, может выбить их из колеи. Говорят, что женщины настолько привыкли к кровотечениям, что лучше с ними справляются, лучше понимают, что происходит, когда из тебя вытекает собственная жидкость. Но это все не про моего брата. По-моему, он просто никогда не задумывается обо всем, что может пойти не так. Есть люди, которые постоянно пытаются себе представить, каково это, когда тебе отрубают голову, а есть те, кто так не делает. Мой брат из второй категории. Его полностью устраивают его вены и работа, которую они выполняют, удерживая кровь внутри. Он никогда не задумывается, что будет, если они лопнут и все пойдет не так.

Бугорки на языке были похожи на белые прыщи. Я поразглядывала их в зеркале из сундука с сокровищами и попробовала выдавить. На пальцы брызнула водянистая кровь. Красное на миг проступило и тут же впиталось в черноту.

Язык все распухал и распухал, и я поняла, что

придется рассказать маме. Я вернулась домой, нашла маму, которая клала плитку в одной из будущих ванных, и высунула язык. Она закричала на меня: “Что ты проглотила? Что ты натворила?”

У меня есть две особенности, которые плохо друг с другом совмещаются: я ужасно боюсь вышек для прыжков в воду, но при этом, стоит мне оказаться на большой высоте — на крыше или у обрыва, меня так и тянет спрыгнуть. Я чувствую это в ступнях, такую невесомость и головокружение, голос в голове — а что, если? А что, если? На вышке же выбора нет, и я цепенею. Я пытаюсь соответствовать, взбираюсь по бесконечным ступенькам — и начинается. Когда я была подростком, я практически прославилась тем, что один раз в самом деле развернулась и спустилась с вышки по ступенькам — постыдный, немыслимый в этом возрасте поступок. Так почему же меня тянет прыгнуть откуда-нибудь еще? Может, потому что неизвестно, чем это кончится? На что рассчитывает мой мозг — что я полечу? Почему мое тело внушает мне такую ерунду — давай прыгай? Как-то, когда я жила в многоэтажке в большом городе, я призналась в этом подружке, с которой мы вышли покурить на крышу, а она

сказала, ну да, у меня тоже так.

— Ужасно странно, — сказала она. — Хочется бросаться откуда ни попадя.

— Мы поэтому дружим? — спросила я. — Потому что нам обеим хочется спрыгнуть?

По дороге к врачу мама сказала: “Дай мне только добраться до твоего брата!” Черный язык не давал мне говорить. Иначе я бы ей объяснила, что брат тут ни при чем. Он не угрожал мне, не брал на слабо, не сулил золотые горы. Он не совал меня лицом в провода, не обещал бессмертия. Хотя тогда мне действительно было любопытно, вдруг в результате этого эксперимента я буду жить дольше — или, может, стану лучше проводить ток? Существуют истории про людей, в которых молния, и это не случайно, попала дважды. Мне хотелось сказать маме, что это все я. Почему я так сделала — сама не знаю. Спросите что полегче.

В этой тяге броситься с обрыва есть и положительные стороны. Мне кажется, она повышает жизнеспособность. Я часто думала: если все пойдет наперекосяк, я просто выучу арабский и перееду в Бейрут. Если отношения с моим парнем не сложатся, я просто уеду в Бангладеш. И там я точно смогу начать новую жизнь, создать себя заново. Может быть, именно эта мысль и пришла

мне в голову, когда я сунула язык в розетку. Может быть, я считала, что это позволит мне начать с чистого листа и преобразиться?

Я помню, как, лежа в скорой после аварии, я засунула пальцы в рот и стала со всех сторон ощупывать язык — вокруг, снизу, по бокам. Он был нормального размера. Что же я там искала? Какую-то перегородку? Боялась обнаружить что-то чуждое и непонятное в глубине?

В детском отделении мама сказала: “Только ты могла мне такое устроить. За что ты со мной так?” Черный язык свешивался у меня изо рта. Пришел врач и наложил на него прозрачную влажную повязку. Запеленутый в эту повязку, черный язык стал похож на лакированный кусок гнилой рыбы. Сквозь повязку доктор ввел иглу. Наверное, выкачивал лишнюю кровь. Я снова подумала, что сдуваюсь, что из меня выходит что-то нужное. Насколько важно удерживать внутри кровь и всякое такое?

Когда брату исполнялось тридцать, я пригласила их с женой в гости и приготовила спагетти с чернилами каракатицы. Не сама — купила в магазине полуфабрикат. Мой брат отнесся к их цвету с подозрением. Он был из тех детей, которые до-

вольно долго едят только белую и крахмалистую пищу. После ужина он сказал: “Зачем ты сварила мне эту гадость? Нельзя было приготовить то, что я люблю? В чем дело? Ты пошла в магазин и забрела не в тот отдел? Мало ли что стоит на полках, не обязательно все пробовать”.

Во времена сломанных пальцев я очень много дралась. Все по правилам, все законно, но все равно очень жестко, и я то и дело проливала чью-то кровь. Я крушила носы, как помидоры. Синяки моего производства становились фиолетовыми, а потом желтели. Я пробегала много километров день и ела как не в себя, потому что сколько бы еды я ни скармливала своему телу, невозможно было восполнить ту энергию, которая уходила на удары. За пару лет активных боев я лишилась нескольких кусочков языка. Какой-нибудь придурок заезжал мне по щеке, и челюсть резко захлопывалась, прежде чем я успевала спрятать язык за зубами. В основном это были маленькие кусочки, которые вроде бы потом отрастали. Я каждый раз перекатывала во рту эти окровавленные обрывки и перед следующим ударом сплевывала их в перчатку на левой руке.

Невозможно до бесконечности разрушать свое

тело.

Я встаю на четвереньки и заглядываю в дырочку. В дырочку виден родительский дом без крыши, во дворе мой брат играет сам с собой в “микадо”. На маме джинсы и фланелевая рубашка. Она что-то оттирает, напевая себе под нос. Стоит у кухонной стойки, в руке губка. Я залезаю на стул рядом с ней. Ужин, говорит мама, и в кухню вбегает брат. Дикий рис, говорит мама, и больше ничего.

— Больше ничего? — вопим мы с братом в один голос.

Мама непреклонна и запихивает ложками рис нам в рот. Я давлюсь и все выплевываю. Брат жадно глотает.

Лето черного языка не укротило меня. В некотором смысле оно сделало меня более отчаянной, готовой на любой эксперимент, потому что я перешла черту — и выжила. Да, мама на меня очень сердилась целый день, но в итоге уже назавтра сдалась. Видимо, весь наш образ жизни “с проживанием” способствовал быстрому прощению. Ребенок в недостроенном доме — на что она рассчитывала? У меня день рождения летом, так что пришлось его праздновать с черным язы-

ком. Черный язык был черным примерно месяц, но в нашей семейной мифологии этот период растянулся на весь год. Лето черного языка превратилось в день рождения с черным языком, а затем в “тот год, когда у меня был язык черного цвета”. Фотографию с того дня рождения отец вставил в рамку — я стою во дворе без рубашки, с палкой в руке и высунутым языком, даже не пытаюсь задуть свечки, даже не делаю попытки никому угодить.

Полюбуйся, говорю я фотографу (скорее всего, маме), полюбуйся, что я натворила. У меня черный язык. Я ничегошеньки не сделаю по-вашему, если мне не разрешат снять рубашку и друзей с проживанием.

Когда я пристально всматриваюсь в свой язык, он оказывается лесом из крошечных мягких лоскутков телесного цвета, которые приглаживаются, когда проводишь им по верхним зубам. Его нужно чистить, говорит мать. Этот язык будет со мной, пока я его не угроблю. Бзззз, думаю я, высовывая его, искры, треск, чернота.

Гори

Мужчины всё умирали, и меня заставляли спать в их постелях. Мертвецов увозили, и я спал с их женами. Первым умер мой сосед Билли Грин. У Билли Грина была жена по имени Ванда. У Ванды была большая грудь и джинсы в обтяжку. Билли увезли ночью. Наутро я нашел у себя на двери записку. В ней говорилось:

“Вчера ночью Билли въехал на своем грузовике в дерево на Аризона-стрит. Ванда осталась одна. Ты не мог бы сегодня у нее переночевать? Побыть рядом? Постараться смягчить удар?”

Я ответил утвердительно. Можете на меня рассчитывать, сказал я. Я позабочусь о Ванде. Мне всегда удавалась стряпня, и я решил, что помогу Ванде заесть беду. Я принесу ей цыпленка с розмарином и булочки с шалфеем. Может быть, лимонных пирожных на десерт и сладкого чая. Я хотел принести ей что-нибудь, что поможет ей забыться, что-нибудь до того вкусное и сытное, что она сосредоточится на сигналах от вкусовых сосочков, а не на своем горе.

Вечером я пришел к Ванде и обнял ее. На крыльце собралась стайка женщин, они рыдали вместе с ней. Я показал им еду и предложил выпить чая со льдом и поесть лимонных пирожных. Когда они наелись и их слезы сменились всхлипами, я отправил их в ночь одну за другой, говоря на прощанье:

— Увидимся на отпевании!

— Да пребудет с тобой Господь сегодня вечером!

— Выпей за Билли!

Они кивали, и обнимали меня, и отвечали: да, конечно, да, мы так и сделаем. Я отвел Ванду обратно в дом. Она была похожа на белку, которая внезапно узнала, что бывает зима. Я налил ей стакан холодной воды. Мы уселись в гостиной. Ванда сказала:

— Знаешь, Джо Энгел, я никогда бы не поверила, что дойдет до такого. Ни за что бы не подумала, что Билли окажется таким ничтожеством и бросит меня. Он меня бросил, Джо. Он нарочно врезался в это дерево. Я так и вижу, как он сидит за рулем “шевроле” и думает, мол, Ванда, черт побери, мне до смерти скучно. Это ты, Ванда Грин, загнала меня в это чертово дерево. Я впечатаюсь в этот вот самый ствол, и тебе придется меня вы-

таскивать. Я сделаю так, чтобы у тебя руки были в крови, джинсы в мозгах, а…

Я перебил ее:

— Ванда, это неправда. Не говори так, потому что это неправда. Билли — покойник, и ничего такого он не говорил. Единственное, что было у него в голове, когда она треснулась о дерево, — это виски. Давай поспим, Ванда. Тебе и так тяжело. Я прилягу тут на диване, и мы просто поспим.

— Джо, умоляю. Мне невыносимо быть в комнате одной. Просто ляг рядом, ладно? Будем спать в одежде и все такое. Я так устала, что все равно бы заснула, не раздеваясь. Только не оставляй меня одну.

— Ладно, Ванда, хорошо. Я приду, когда ты уляжешься.

Я слышал, как она в спальне всхлипывает и кладет голову на подушку. Услышал, как она один раз повернулась, и тогда вошел. Ванда уже крепко спала, в джинсах и майке.

Спальня была отделана под дерево, стеклянные двери выходили в сад. Еще там был комод, а на комоде в рамке-сердечке стояла фотография Ванды и Билли на каком-то озере. Билли на фотографии уже начал лысеть, и нос у него обгорел. Я снял шляпу, положил ее на комод и забрался к Ванде

в постель. Нащупал в матрасе углубление от тела Билли и провалился в него. Подтянул колени к животу так же, как он. Подпер подушку под тем же неудобным углом. Я слышал, как Ванда дышит мне в спину — как наверняка слышал и он. Воздух со свистом втягивался через ноздри и вырывался через рот. Ее тело содрогалось жизнью, как будто она плакала во сне. Луна проникла сквозь раздвижные стеклянные двери и осветила нас обоих. Я задремал, потом проснулся, пот катил с меня градом. Мне было так жарко, что голову как будто зажали в тиски. Я встал, выпил воды и снял фланелевую рубашку. Под ней была майка, так что я решил, что все в рамках приличий. Когда я возвращался к кровати, в стеклянную дверь постучали.

— Эй, ты, Джо Энгел! Какого черта ты делаешь в этой чертовой спальне с моей чертовой женой?

За дверью стоял Билли — призрачный и, конечно, немного прозрачный, но все равно громогласный и пьяный. Я поднял палец, как бы говоря: “Минутку, Билли. Дай-ка я кое-что захвачу, а потом выйду и все объясню”.

Он продолжал орать, и вопить, и колотить в дверь. Я ужасно испугался, что Ванда проснется и помрет от страха, но она все похрапывала и даже

повернулась на другой бок. Когда тут еще толпились женщины, я приметил в гараже веревку, и теперь сходил за ней. Я обулся, но рубашку надевать не стал, перекинул веревку через плечо и раздвинул стеклянные двери, чтобы встретиться с мертвым Билли Грином.

Билли сказал:

— Джо. Уж не знаю, что ты там себе воображаешь, но это моя жена! Думаешь, я настолько пьян, чтоб любоваться на тебя в своей постели? Я отлуплю тебя этой бутылкой и воткну вот этот вот кинжал прямо тебе в сердце!

Я не мешал Билли говорить и делать, что он хочет, ведь я знал, что его бутылка и кинжал — просто дым и воздух. Я сказал:

— Давай, попробуй, и посмотрим, что из этого выйдет.

Я почти увидел, как он багровеет от ярости. Он поднял бутылку призрачного “Бима” и опустил ее мне на макушку. Она прошла прямо сквозь меня. Призрачное стекло. Как будто холодной водой плеснули, и все. Я воспользовался его замешательством, схватил под коленки и дернул. Сложил его вчетверо, потом еще пополам и затолкал в стоявшее поблизости ведро. Накрыл сверху брезентом и натянул его как следует. Билли все

вопил про свою бутылку, но уже приглушенно. Я схватил веревку, и набросил ее сверху, и обвязал ведро крест-накрест через дно и так крепко затянул, что ему было точно не выбраться. Потом вырыл яму в человеческий рост и отправил призрак Билли Грина на самое дно.

— Прощай, Билли, — сказал я и засыпал землей консервы его души.

В спальне Ванда по-прежнему храпела. В лунном свете она была хороша собой. Я забрался рядом под одеяло и сразу же заснул и проснулся утром в полном умиротворении. Она сварила мне кофе и немножко всплакнула, но в этом всхлипе было облегчение, а не отчаяние. Просто выдох в сопровождении неспешной слезы. Потом она улыбнулась и села, откинула челку со лба и взглянула на меня.

— Спасибо, что остался, Джо, — сказала она.

— Я только рад, Ванда. По-другому и быть не могло.

— Я слышала, как ты ночью боролся с Билли, и за это я тоже тебе благодарна.

— О чем речь, Ванда. Скажи, если нужно еще чем помочь.

На этом я слегка поклонился и пошел домой приготовить себе что-нибудь на завтрак. Недо-

еденного цыпленка и булочки я оставил Ванде.

С приходом осени Ванда перестала лить слезы и окрепла. Я увидел, как уверенно она выбирает в лавке продукты — женщина, которая твердо знает, что ей нужно. В нашем уголке города листья вертелись и вертелись, пока совсем не открутили себя от веток. Тротуары засыпало снегом, и я расчищал их, сколько мог. Когда мы были уже по колено в зиме, я обнаружил у себя на дверях еще одну записку. В ней говорилось:

“Джо. Умер Роберт. Отбросил коньки, когда возился в саду. Тут у Мэри все неладно. Если можешь, приходи. Нам очень нужна помощь”.

Я бросил все дела и приготовился к выходу в белый свет. К Мэри я пришел с термосом горячего шоколада, куском кофейного кекса и запеканкой из цуккини с козьим сыром и спросил, могу ли я быть чем-нибудь полезен. Я был не первый, но все уже разошлись по причине ранней темноты. Дела надо было делать засветло, пока ночь все не заморозила. Мэри ничего не ответила, даже не взглянула на меня. Она просто сидела в кресле-качалке, уставившись сухими глазами в дальний угол комнаты, как будто ей что-то привиделось. Когда ночь сгустилась, я сказал: “Что ж, Мэри,

пора мне домой”, но тут она обернулась с таким неприкрытым ужасом в глазах, что я пошел на попятный: “Но если хочешь, я, конечно, останусь”. Она кивнула, но так ничего и не сказала. Когда время подошло к одиннадцати, я повторил попытку.

— Послушай, Мэри, уже поздно. Пора спать.

В ответ она протянула ко мне руки, как ребенок, который хочет, чтобы его отнесли в кровать.

Я подошел к ней, она обвила мою шею руками, и я подхватил ее под коленки. Ее голова поникла в полудреме, а тело согнулось пополам. Я пронес ее через гостиную и по узкому коридору, увешанному фотографиями их свадьбы, их детей, нескольких поколений их собак. Я толкнул ногой дверь в спальню и опустил Мэри на ее — как мне показалось — сторону постели. Я толком не понял, уснула она у меня на руках или просто не хотела открывать глаза. Я направился к двери, чтобы улечься на полу в гостиной, но услышал за спиной голос. Сначала мне показалось, что кто-то вскрикнул, но потом Мэри откашлялась и сказала: “Пожалуйста, не уходи”. Я подошел к Робертовой половине, посидел минутку на краешке, а потом разулся и закинул ноги на кровать. Оказавшись внутри отпечатка его крупного тела,

в углублении, которое оно оставило во сне, я почувствовал себя карликом. Мэри ровно дышала, но я знал, что она не спит. Я так устал от снега, дороги и того, что ее нес, что, хоть мне было не по себе, я заснул быстрее, чем стынет вода в кране.

Мне показалось, что я проспал много часов, когда услышал в темноте голос Мэри. Она сказала:

— Обычный человек.

— Что, Мэри? — переспросил я.

— Обычный человек, — повторила она.

Я молча ждал продолжения. Но его не было.

— Мэри, — сказал я.

— Джо Энгел. Кто ты такой? Ты больше, чем хотел бы, или меньше? Какой ты на самом деле? Ты такой, как предполагалось? Не выше, не ниже, а ровно на том гребаном уровне, какой отмерил тебе Господь? Ты хоть иногда думаешь, как бы все было, если бы ты перестал платить налоги? Выкрасил волосы в фиолетовый цвет и завел ручную свинью? Ты вообще способен чего-нибудь такого захотеть, Джо Энгел? Вряд ли, но неужели тебе не хочется попробовать? Просто так, потому что ты можешь? О чем, по-твоему, думал Роберт, когда его сердце остановилось в разгар прополки? Спорим, он думал: тьфу, блин, я даже до рододендронов не дошел. Ну в самом деле. Какой мужик

будет думать о рододендронах? Неужели у него в голове не было мыслей поважнее? Нет. Не было, Джо. Более того…

— Мэри, остановись, — сказал Роберт.

Он сидел, скрючившись, в углу. Похоже, прятался в шкафу и выскользнул, пока Мэри разглагольствовала. Свет полуночной луны проходил сквозь него и падал в изножье кровати.

— Мэри. Может, у меня и был ухоженный сад, но не такой уж я злодей.

Мэри застонала.

— Да, я выращиваю морковь и органические помидоры, и свеклу, и базилик, но это не значит, что я скучный!

— Нет, скучный! — завопила Мэри. — Даже когда ты призрак! Нисколечки не страшный! Сидишь тут и пытаешься мне доказать, что надо было тебя любить за твой долбаный огород!

Вид у Роберта был невеселый. Большие ладони прижимались к пустым глазницам.

— Хоть ты ее вразуми, Джо, — сказал призрак Роберта Брауна.

Я запротестовал.

— Нет-нет. Я пойду. Вижу, что вы сами разберетесь. Я тут ни к чему.

И тут Мэри издала такой звук, который, честно

говоря, я от человеческого существа услышать не ожидал.

— НЕТ! — Мэри рывком выпрямилась и посмотрела на меня так, как будто сейчас мне врежет. — Джо Энгел, я и остаться тебе разрешила только потому, что знаю, что ты сделал для Ванды Грин! Сделай для меня то, что сделал для Ванды, и немедленно!

По-моему, это было несправедливо.

— Послушай, Мэри. — Я обернулся к ней, но при этом старался не отводить взгляд от Роберта, чтобы он чувствовал, что тоже участвует в принятии решения. — Как по мне, ситуация у вас совсем другая. Роберт тебя не донимает. Просто сидит и пытается помочь. Что плохого, если он поболтается тут немножко?

— Джо Энгел, этот человек всю мою жизнь тут болтается! Он хуже пьяницы, в сто раз хуже. Слышал, как он рассуждает про свою долбаную морковку? Если ты сейчас же не запрешь его под землей, я всем расскажу, что ты пытался залезть ко мне в трусы прямо в ту ночь, когда у меня умер муж. Всем расскажу, что ты засунул палец мне в задницу, пока я спала.

Она подождала, пока до меня дойдет.

— Мэри! — возмутился призрак Роберта Брау-

на. — Мэри! Как ты могла такое подумать, а тем более сказать вслух!

— А что, Роберт, тебе никогда не хотелось засунуть палец мне в задницу? Вот именно — нет! А может, я хотела, чтобы ты засунул мне в задницу свой чертов палец! Может, если б ты хоть на минуту забыл про свою чертову органическую клубнику, ты бы засунул все, что нужно, туда, куда я хочу!

У Мэри был такой вид, будто по ее жилам только что пропустили электрический разряд. Она уже стояла на ногах, волосы дыбом, глаза выпрыгивают из орбит. Она стала угрожающе надвигаться на Роберта. Она шла и кричала, шла и кричала, один жуткий шаг за другим. И с каждым ее движением Роберт все больше рассеивался. Я хотел было выскользнуть за дверь, пока она поглощена этим приступом ярости, но заметил, что Роберт начал мерцать, и отвлекся. К тому моменту, когда Мэри добралась до Роберта, он исчез, испарился, перестал существовать.

— Куда он провалился? — завопила Мэри. — Роберт, куда это ты? Я с тобой еще, твою мать, не закончила! Гребаный трус! Прячешься в гребаном сарае? Ух, доберусь я до тебя!

Но она осталась одна. Она так его напугала, что

он отбыл прямиком обратно в загробную жизнь. Я решил убраться, пока могу, и двинулся к двери, не дожидаясь, когда Мэри придет к тому же выводу. На улице все еще мело, и дорога домой стоила мне немалых усилий. Бредя в снегу, я не раз терял решимость. Когда я добрался до дома, пустого и холодного, я вытерся насухо, закутался и сразу заснул.

Дни сменялись неделями и до меня дошли слухи, что Мэри, несмотря на великую трагедию, неплохо справляется. Я встречал ее на воскресной службе и всегда предлагал ей лишний пончик, но она только зыркала в ответ. Поскольку количество взрослых прихожан мужского пола снизилось, я стал брать на себя больше обязанностей в церкви. Ярмарка и угощение после службы — немалая нагрузка, которую никто не рвался взвалить на себя, а может, и некому было, так что я предложил свою помощь. Я готовил лазанью, булочки в глазури и томленое мясо. Когда был в настроении, то пек сахарное печенье в форме крестиков и украшал его красной глазурью, изображающей кровь Христову. Не знаю, было ли дело в том, что нашептали им Ванда и Мэри, или женщины просто влюбились в мою стряпню, но у меня всю жизнь с женщинами не ладилось, а

тут вдруг они стали роиться вокруг меня, что ни воскресенье.

— Джо, как тебе удается такой сочный кукурузный хлеб?

— Такое хрустящее печенье?

— Такая божественная свинина?

И вскоре я стал женатым мужчиной. Всю жизнь жил холостяком, но в расцвете лет оказался окольцован. Ее звали Миранда Кинг, и у нее были волосы как у ангела — платиновые, длинные, прямые — и челка, и когда я рассказывал ей, как натирать цыпленка, она заливалась смехом. Один раз она развелась, один овдовела и жила во внушительном старом доме на холме. Я переехал к ней и занялся стряпней. Меня хватило на два Рождества, как вдруг — бац — масло взяло верх, и мои артерии решили, что перерыв окончен. Трансляцию прервали. Прикрывать команду с фланга больше не требуется. Я не помню, ни как лежал в гробу, ни как черви заползали мне в уши. Помню, что был и вдруг перестал быть. Смаковал стакан ледяной воды и сам стал стаканом ледяной воды.

Разумеется, как только я вновь почувствовал под собой ноги, я отправился на поиски Миранды. Я решительно поднялся по холму и постучал

в нашу дверь. Сначала никто не отозвался, и я нажал кнопку звонка. Наконец послышались шаги, и я приготовился к объятиям Миранды. Но дверь мне открыла вовсе не Миранда. На пороге стоял призрак Ника Кинга.

— Какого черта, Ник! Что ты делаешь в моем доме? — спросил я.

— Вообще-то это мой дом. И я был здесь всю дорогу. — Вид у него был самодовольный.

— Ник, сейчас я понимаю, что тебе пришлось несладко, умереть молодым и все такое, но у нас с Мирандой была своя жизнь, и я считаю, что имею право ее увидеть и сказать, что я все еще здесь.

— В этом доме нам двоим места не хватит, — заявил призрак Ника Кинга.

— Какого черта, Ник! Откуда ты взялся? Моя смерть тебя разбудила? С чего ты взял, что нужен Миранде после стольких лет?

— С того, что я никуда не уходил, — сказал Ник. — Кантовался на чердаке. Она навещала меня по воскресеньям, пока ты возился на кухне. У нас с Мирандой был уговор. А ты всего лишь удовлетворял ее земные потребности.

Я покачнулся. Мое призрачное тело заледенело, и я задрожал. Я потерял ориентацию, прошел через пару цветочных кадок и проклял Ника и

свою облачную душу.

— Чертов Ник Кинг! Я буду тебе являться! Так нечестно! — воскликнул я.

— Валяй, Джо. Но, сдается мне, это я тут всем являюсь.

Я попытался его толкнуть, но мой кулак коснулся его щеки и просто прошел насквозь. Он попробовал толкнуть меня в ответ, и вскоре мы оба завывали и махали руками, и все без толку, потому что ни один из нас не встречал необходимого сопротивления. Мы были как две волны, проходящие друг сквозь друга, как два прилива, то на миг встречающиеся, то расходящиеся и встречающиеся вновь, и казалось, что это будет длиться вечно, учитывая, что наши нездешние тела и не думали уставать.

— Джо! — услышали мы голос Миранды. — Джо и Ник, а ну прекратите!

Миранда появилась из-за двери. Я отпустил воротник Ника и распрямился. Миранда стояла передо мной — прекрасная, живая, изящная, с ангельским лицом. Ее волосы сияли ярче, а зубы белели ослепительнее, чем я мог припомнить в свои гробовые дни. Воплощение грации.

— Миранда, — взмолился я, — скажи, что это неправда. Скажи, что я не жил все это время с

призраком Ника Кинга!

Миранда смутилась.

— Все это непросто, — сказала она. — Что прикажешь делать женщине с призраком, если он ей не так уж неприятен?

Я чувствовал себя полностью уничтоженным.

— Зачем я был тебе нужен, Миранда? Если все это время у тебя на чердаке был Ник, зачем тогда я? Ради моего тела? В этом вся правда? Это все, что тебе было от меня нужно?

Я уже плакал. Выл и стонал.

— Заткнись, Джо, — сказал Ник. — Тело у тебя, по правде говоря, ничего особенного.

Это было похоже на правду, и я осекся.

— Я люблю тебя, Джо, — сказала Миранда. — По-настоящему. И мне нравилось заниматься с тобой любовью. Но…

— Что? — закричал я. — Скажи мне, что со мной не так!

— Дело не в том, что с тобой не так, — встрял призрак Ника Кинга. — Дело в том, что ты предлагаешь.

На этом месте Миранда расплакалась.

— О, Джо, — сказала она. — Джо! Я всегда любила тебя за то, какой ты есть! Но твой пирог с курицей! Твоя свинина, тушенная в молоке с

сыром! Твои яблочные пирожки, говяжье рагу и пекановый тарт! Твой цыпленок с лимоном, картофельное пюре с чесноком и нежное жаркое из свинины! Твой суп с фрикадельками и хлеб с финиками и кленовым сиропом! И сахарное печенье! Ох, Джо, это сахарное печенье!

Все мои кулинарные достижения предстали передо мной. Моя мать всегда говорила, что путь к сердцу женщины лежит через желудок, но я никогда не думал, что находиться в желудке будет так паршиво. Я увидел женщин, с которыми был, и пироги, которыми я их кормил, и увидел воспоминание о том, как кормлю Миранду куском торта. Я увидел, как призрак Ника Кинга лежит на чердаке и смотрит, как поднимается пар от еды, запаха которой он не чувствует. Увидел опрокинутую на стол плошку кукурузной каши, Билли Грина, пьющего “Бим”, и хмурого Роберта Брауна. Билли и Роб обступили мой стол с опрокинутой кашей, зачерпнули ее руками и с хлюпаньем запихали в рот. Я обернулся к Миранде, стоявшей позади меня, но увидел только Билли, который навис надо мной и прошипел в ухо: “Твоя томленая постная говядина будет чертовски хороша с моим призрачным «Бимом»”. Я скинул руку Билли со своей каши и закружился

в поисках Ванды и Мэри. Но передо мной была только кухня. Великая божья кухня. Груды рыбы и реки вина. Я увидел, как вечно готовлю запеканки. Выдаю бисквиты и снедь ведрами. Кормлю Бога кончиками пальцев. Опускаю руку в плошку кукурузной каши. Варю Бога в котле. Смотрю ему в лицо сквозь жаркое. Он говорит мне: постоянно помешивай. Не останавливайся. Не дай лимону скиснуть. Что бы ты ни делал, не дай донышку подгореть.

Истинные зомби

Во Флориде все пастельное. Вы нигде не найдете ярко-желтой чашки. Она обязательно будет выцветшей. Совсем новой, но уже изношенной. Вот каким они там делают все. Поблекшим и разбавленным. Светлые-светлые розовые очки и белые-белые волосы. Так выглядит большинство. Всего лишь тени ярких, живых людей. А настоящие люди, как правило, не живут во Флориде. Там живут лишь призраки, которых держат в чистилище в наказание за чревоугодие или для взимания процентов по кредитам.

Лула Мэй

Когда мертвые рожают детей, все внутри трескается и ломается, а починка может быть очень дорогой, особенно если за дело берется хороший хирург. Когда Лула Мэй родила, она уже была мертва, но ее ребенок, ко всеобщему удивлению, был жив. Живой ребенок во Флориде, сказал ее врач, весьма противоестественно. Что же он будет делать, спросил ее врач. Как вы собираетесь воспитывать живого ребенка среди мертвецов? Многие соседи Лулы считали, что ребенка нужно

срочно увезти. Отдать на усыновление в хороший живой штат, например, в Нью-Хэмпшир. Дать ребенку шанс на нормальное воспитание. Но стоило только Луле об этом подумать, как она поняла, что это совершенно невозможно. У них с мужем никогда не было детей при жизни, а теперь здесь, в чистилище, во Флориде, по неизвестной причине у них наконец появился ребенок, которого они могли любить и наблюдать, как он растет. Они решили назвать ребенка Остином. Остин Монти. И со всей любовью, на которую только было способно безжизненное сердце Лулы Мэй Монти, она уцепилась за этого ребенка. Вырастила и воспитала. Она наблюдала за тем, как он отращивает волосы, как танцует с мертвыми соседскими девушками. Она улыбалась, и улыбка морщилась на ее податливом, разлагающемся лице. Когда Остин достаточно подрос, чтобы выбираться в город, Лула Мэй забеспокоилась, что дни бегут все быстрее и скоро ему придется покинуть Флориду — переехать к своим. Иногда Остин смотрел на мать: на ее белые волосы, на подведенные глаза, на постепенно гниющую плоть — и целовал ее в щеку, чувствуя, как проминается кожа. Он гадал, куда тело матери отправится дальше, и знал, что им

суждено разделиться. Она отправится туда, где все сжигают, а не хоронят, или туда, где свет был диким, а облака твердыми. Ему нравилось представлять, как его родители на небе скачут с одного облака на другое. По правде говоря, он не был уверен, куда именно им суждено отправиться. Но любой из вариантов звучал для него лучше, чем предстоящий путь на север.

Кассадага

Вибрации Кассадаги разносятся на многие мили за пределы города. Сверхъестественные силы переполняют дома медиумов, из-под дверей и занавесок вырываются лучи света. Иногда по ночам Остин видел, как пляшут по его комнате маленькие сгустки фотонов, и знал, что есть лишь одно место, откуда они могут исходить. Помимо самой большой общины живых людей во Флориде, Кассадага может похвастаться самым большим количеством экстрасенсов на квадратную милю. Город провидцев и хиромантов, чайных листьев и чакр, общения и просвещения. Подойди, позволь заглянуть внутрь себя и рассказать. Некоторые гости Кассадаги остаются недовольны тем, что узнали, но ведь мир духов не подконтролен никому. Мертвые куда более непредсказуемы, чем живые, и далеко не всегда готовы радовать своей

рациональностью. В разгар сезона Кассадага становится очень многолюдной, тысячи мыслей парят в воздухе, и невозможно определить, где чья. Когда медиумы спят, они отпирают свои черепа и позволяют мозгам выплывать наружу, подобно воздушным шарам, прикрепленным к своим владельцам с помощью тянущихся из их спин резинок костного мозга. Если вы посетите Кассадагу поздней ночью, то сможете увидеть, как выплывают из дымоходов мозги медиумов, покачиваясь на влажном ветерке и слегка потея в толпе окружающих их душ, которые ласкают и пытаются разбудить их. Прежде чем Остин покинул Флориду и отправился на север, мать отвезла его в Кассадагу, чтобы тот привык к общению с живыми людьми. Остин подходил к медиуму и спрашивал: “Можно тебя потрогать? Мама говорит, это хорошая тренировка”. И он ощупывал их руки и черепа, чувствуя пальцами застежки, которые выпускали мозги по ночам. (Должны предупредить, говорили они, что не у всех людей на севере есть застежки на черепах.) Но зачастую самим медиумам было намного интереснее потрогать его. Живой ребенок во Флориде, размышляли они, возможно ли это? А может, он одновременно и жив, и мертв? Может

ли он общаться с душами, что уже отправились в иной мир, оставив Флориду? Они допытывались: скажи нам, Остин, с кем тебе больше нравится заниматься любовью? С живыми или с мертвыми? Остин краснел от оживления и отвечал, что никогда не занимался любовью с живой девушкой, но мертвые ему очень нравятся.

Комната в Тампе

Во Флориде Остин первым делом привез меня в Тампу к своим бабушке с дедушкой. Смотри, сказал он, как кристаллизуются воспоминания пожилых людей, становятся твердыми и неизменными. Смотри, как перила бунгало и пляжные полотенца сливаются, становясь единой картинкой, отражающей прошлое и настоящее, создавая иллюзию, что время велико и все-таки ничтожно. Его бабушка с дедушкой жили в маленьком небесно-голубом домике. Внутри была комната, пропахшая формальдегидом. Все вокруг было липким и постепенно разваливалось от каждого прикосновения. Фотографии и фарфор, розовые обои с фламинго и диванчики — все пахло разложением и было чуть более податливым, чем нужно. Их физическая оболочка прогибалась под тяжестью пропитывающих их воспоминаний, угрожая не выдержать веса. На диване сидели

двое и держались за руки, рты их были открыты. Их тела сливались воедино с телом дивана, формируя и консервируя единую реальность. Гравитация по-хозяйски расправилась с их кожей, а их мозг медленно сочился из ноздрей, оставляя следы на одежде.

Крокодиловые тако

Попробуй, сказал он. На вкус может напоминать курицу, но это правда динозавр. Не птица, нет, это представитель другого вида, который как-то выжил после того гигантского астероида, что врезался в землю шестьдесят пять миллионов лет назад. Это животное представляет собой высшую форму нежити. Он назвал их истинными зомби. Так случилось, что все их родственники были убиты, а они спрятались под диваном и выжили, втиснув свои доисторические тела в современность. Они кичатся своей чешуей и когтями, производят на свет яйца, что никогда не вырастут во взрослых особей, но их удел — быть талисманами современных неандертальцев, футбольных фанатов Флориды. Они плещутся в реках и болотах, от их рептильного дыхания на деревьях растет мох. Они высасывают оставшиеся краски из пока еще живых людей, размывая яркость, наполняя мир пастелью. Они скользят

по речному илу и виляют меж лодочных моторов. Остин говорит, чтобы убежать от них, нужно петлять. Они не смогут тебя поймать, если ты будешь бежать, словно болван. Просто веди себя по-идиотски, говорит он. Большинству это помогает.

Об экзотических любовниках

Любить флоридца — все равно что любить Фрэнка Синатру. Он, может, и красив, но мертв, поэтому моя любовь ограничивается своего рода отстраненным восхищением. Мрачная, побитая любовь, что скользит между двумя людьми, но никогда не обретает четких очертаний. Она витает в воздухе и путешествует между мирами, но в конечном счете никогда не сможет стать проводником настоящих чувств — ибо выросшему среди тягучего южного говора и переполненных насыпных пляжей не понять того, кто вырос в реальном мире. Однако волнующая неизвестность все же весьма привлекательна, она заставляет мой разум нырять из одного мира в другой — в тот, который существует лишь в порнографических фильмах. В каких только местах не побывали его губы, прежде чем соприкоснуться с моими. Во всей Флориде. В болотах аллигаторов, в парках развлечений и в кондитерских лавках с пастельными стенами. Его губы побывали в

кубинских сэндвичах, в девушках с обесцвеченными волосами, на речных лодках и в городах, населенных экстрасенсами. На формальдегидных лбах его бабушек и дедушек и в мертвой плоти. Жители Флориды свободны от горечи, что несет в себе строгая определенность, и потому любить флоридца можно, лишь принимая его полную оторванность от остального мира, его потустороннее воспитание, которое сделало его столь отличным от стандартного цветового круга, и его зыбкость, что так бросается в глаза на фоне живой плоти.

В “Монс Винус”

Прежде чем Остин покинул Флориду и отправился в мир живых, он встречался с мертвой девушкой, которая работала стриптизершей. Она работала в знаменитом на весь мир клубе “Монс Винус”. В “Монс” все желтеет, словно выцветающая фотография, словно не чищенные целую неделю зубы. В “Монс Винус” люди разбивают свои черепа о стол, чтобы посмотреть, что внутри. Содержимое вываливается на стойки и стекает вниз по специальным желобам. В “Монс” есть вип-зал в форме летающей тарелки, туда нужно подниматься по узкой винтовой лестнице. Внутри ждут фиолетовые плюшевые сиденья и

большая сливная установка, откуда посетители могут высосать свои мозги. За хорошую плату в “Монс” наполнят ваш мозг карманными стриптизершами. Обычно их засовывают через отверстие, которое они проделывают вам во лбу. Внутри мозга стриптизерши танцуют и покалывают ваш позвоночник своими прозрачными каблучками и желтыми зубками. А своими ноготками они царапают ваши лобные доли. Они все танцуют и танцуют, пока пластиковая оболочка, покрывающая мозг, наконец не треснет под ударами их крошечных ножек, не разлетится на куски и не попадет в кровоток. Тогда Бог решит, что вам пора покинуть Флориду, что вам пора вернуться домой.

Кем бы я была, если бы не была собой

У меня был муж. Он был жив. Я окликнула его со второго этажа, я закричала: Рэй! Не могу их найти! Их здесь нет! И муж не ответил, и меня это разозлило, потому что он часто не отвечал мне — люди, с которыми мы проводим большую часть своего времени, часто не считают нужным нам отвечать. Я еще немного покричала, а затем спустилась и увидела его: голова была слегка наклонена к левому плечу, ноги — выпрямлены и вывернуты, а руки лежали на подлокотниках, будто кресло стало его накидкой. Глаза мужа были закрыты, а челюсть отвисла. Я подошла к нему и крикнула. Вдруг я поняла, что есть еще одна причина, по которой он может не отвечать, поэтому встряхнула его, но это ничего не дало: он лишь слегка сдвинулся с места. Мой муж был крупным мужчиной с большими руками, веснушками по всему лицу и белыми волосами на макушке. Он был очень красивым. Я стояла рядом и кричала на него. Затем подошла к телефону и набрала 911. Скорая приехала очень быстро.

Медики выломали дверь, потому что у меня не хватило сил им открыть. Они прикрепили к моему мужу приборы, сосчитали до трех, и его тело пронзили вольты, заставив пальцы на обеих руках растопыриться в звезду: будто он потянулся к чему-то, будто потянулся ко мне. Медики, которые сняли с моего мужа одежду и били его током, сказали: Простите, мэм, мы больше ничего не можем сделать, — положили его на носилки и хотели вынести за дверь, за нашу дверь, но я сказала: Подождите, подождите минутку, я хотела бы с ним попрощаться. Я подошла к телу мужа, посмотрела на него, дала пощечину и сказала: Как ты смеешь! Как ты смеешь оставлять меня вот так, совсем одну!

В огромной белой комнате, заполненной диаграммами и искусственными растениями, мужчина в дешевом белом халате, совершенно убежденный в своей власти, протянул ко мне руку. Он сказал: Сердце вашего мужа билось вот так, и сжал руку в кулак, а затем разжал, и пальцы повисли в воздухе. Сердце моего мужа не было сделано из пальцев, сказала я, и это не понравилось доктору. Это метафора, сказал он, наглядное пособие, которое поможет вам понять, что произошло. Мне не нужна ваша помощь,

сказала я, вышла из белой комнаты и пошла на парковку в поисках сына.

Летом 1984 года мы с мужем отправились в круиз по Средиземному морю — по пути Одиссея. Так нам этот круиз описали. Мы поехали вместе с друзьями: тремя парами, с которыми были очень давно знакомы. Жизнь в браке весьма забавна, особенно в нашей замкнутой, пикниковой, хорошо натренированной “своей тусовке”. Было принято притворяться, что каждая пара — это один человек, что большинство людей — лишь половинка человека, который становится целым только в паре с партнером. У нас не было одиноких друзей. И в круиз мы отправились парами. Мне больше нравились мужья, чем жены, и мой муж нравился всем больше, чем я. Я знаю, что меня не назовешь приятной. Однако меня беспокоит, насколько легче мне было общаться с мужьями. Насколько легче мне до сих пор общаться с мужчинами. Те женщины в круизе были подругами моего мужа? Или моими подругами? Или только подругами нас обоих как пары? Подругами двойной человеческой единицы, которую мы составляли? Может, те пары дружили только с идеей о нас — идеей о Рэе и Фрэн. Как бы то ни было, именно идея о Рэе и

Фрэн отправилась в круиз с парными друзьями. Единственным интересным моментом круиза стал тот момент, когда эта идея сломалась. Когда мы с Рэем решили самостоятельно поплавать у корабельного борта и нас оставили ночевать на побережье. Случайно, конечно. Какая счастливая случайность! Когда мы оставались одни, мы были сами собой, а не парой.

Я обнаружила сына в подвале больницы, в котором хранили тела. Он смотрел на тело. Я спустилась в подвал, и человек, проводивший осмотр тел, сказал мне очень мягко: Позовите тех, с кем был близок ваш муж, пусть увидят тело и проводят его в последний путь. Я ничего не ответила сотруднику подвального морга, потому что устала и потому что никогда не заставляла себя поддерживать беседу с кем-либо, даже если со мной заговаривали первыми. Я не стала никому сообщать, что они могут прийти попрощаться. Пришел сын, и этого было достаточно. К тому же тело мужа принадлежало мне, и пока оно было все еще здесь, хоть и лишенное возможности двигаться, я не хотела его ни с кем делить. В мире так мало вещей, которые ты с уверенностью можешь назвать своими. Я долго смотрела на его лицо и начала беспокоиться, что он может на-

чать разлагаться, что нельзя оставлять его отсек открытым так долго, что это выведет из строя весь холодильник. Мой муж не был старым. Ему было семьдесят. А мне было шестьдесят три.

Я прошлась по дому, стараясь не смотреть на место, где умер муж, и обнаружила, что постоянно перевожу взгляд с одного предмета на другой, но ни на чем не могу задержаться глазами. Смерть распространилась с его кресла на ковры, на деревянные стены и на керамические миски в моем шкафу. Я смотрела в миску с хлопьями и видела своего мужа. Смотрела на затирку между плитками кафеля в душе и видела его руки. Я слышала, как он кричит на втором этаже. Слышала, как он кричит с улицы. Я начала спать в другой комнате, но зараза проникла и туда. Я попросила сына помочь мне переехать в дом поменьше, который я буду делить с молодой семьей, чтобы весь день, а может, даже и ночь слышать за стеной живых людей.

Я не устроила для своего мужа похороны. Я устроила для него вечеринку. Мы сожгли его тело и поместили в маленькую коробочку его прах, который я потом развеяла в горах, куда мы когда-то ходили в поход. На вечеринке люди говорили: Мы

будем скучать по нему, Фрэнни, мы уже по нему скучаем. Парные друзья, с которыми мы ездили в круиз, пришли с поникшими головами и скорбно покачали ими из стороны в сторону. У них были носовые платки. Все, о чем я могла думать, глядя на них, были носовые платки. Они лежали у них дома? Или их купили на один вечер? Мы входили в тот возраст, когда люди начинают умирать. Возможно, носовые платки стали вложением в будущее. Возможно, жены сходили в универмаг и купили новые платки, подумав: качество важнее количества, мы вступаем в тот возраст, когда это становится хорошим вложением, ведь мы используем их не один раз.

Когда умер муж, я была такой молодой.

Мы строили свой дом. Мы с Рэем. Мы собирались построить дом своими руками. Мне было двадцать один, я носила потертые джинсы и черный топ, у которого я отрезала ворот, чтобы открыть шею. Полезно знать свои сильные стороны и уметь их использовать. Я отрезала воротники со всей своей одежды. У меня были короткие темные волосы, которые, не будь я такой стройной, придавали бы мне сходство с мужчиной. Я вытащила из грузовика плиточные

камни и свалила их в кучу, а затем крикнула Рэю: Дорогой, где мы проложим тропинку? Рэй широко улыбнулся, отложил деревянные конструкции и очень близко ко мне подошел. Своей большой рукой он взял меня сзади за шею, наклонился к уху и прошептал: О, Фрэнни, мне все равно. У меня на лице мелькнуло что-то наподобие улыбки, я сделала большие глаза, чмокнула его в грудь и ушла. Я проложила тропинку от подъездной дорожки до будущей входной двери, а из оставшихся камней — тропинку от заднего двора прямо в лес, окружавший участок, который должен был стать нам домом.

Дом у нас получился великолепный. Одноэтажная постройка в стиле ранчо с современной односкатной крышей, бассейн с черным дном на заднем дворе в форме изогнутого овала. Это было начало шестидесятых, и мне всегда нравились яркие цвета, поэтому я украсила дом скандинавскими принтами и длинными гротескными коврами с ворсом. Рэй, конечно, нанял рабочих из садоводческого магазина, чтобы они помогли ему со строительством, но по большей части сделал все сам, руководствуясь лишь помощью друга-архитектора, с которым мы, как ни странно, почти не виделись после того, как дом был готов. Тогда

построить что-то своими руками не казалось такой безумной идеей. Построить что-то, в чем мы могли бы жить, родить ребенка и назвать своим домом. Сын настаивает, что сейчас за такое нас бы заклеймили отшельниками, людьми, намеренно воздвигшими стену между собой и обществом. Но это было совсем не так. Это Рэй придумал строить дом. Мы просто подумали, что могли бы сделать это сами. Зачем Рэю было продолжать работать продавцом в городе, когда он мог накопить денег, построить свой дом и проводить со мной больше времени? Простая логика. Это как решить сидеть с ребенком самому, вместо того чтобы нанимать няню. Если вам нравится проводить время с сыном и лишних денег все равно нет, зачем это приятное занятие кому-то делегировать? В то лето мы быстро построили каркас, натянули над будущей гостиной брезент и жили в ней, как в палатке. У нас был портативный гриль, который работал на маленьких канистрах бензина. Каждое утро мы вставали вместе с солнцем, голышом принимали душ из шланга, затем варили кофе, ели что-нибудь и принимались за работу. У Рэя был радиоприемник, на котором мы слушали местную джазовую станцию и запоминали имена всех диджеев: к концу лета мы уже пародировали

Билли Дрейка, Бобби Дейла и Слая Стоуна, пока закупались продуктами. Мы ехали на нашем потрепанном фургоне в “Сэйфвей” в Саут-Сити, заходили в отдел консервов, я брала нут, говорила: Хлоп! Вот оно! — и легонько шлепала Рэя по заднице. Затем плавно скользила по линолеуму к нашей скромной тележке и опускала баночку к остальным товарам для летнего домика. В этих поездках мы покупали кучу ненужных вещей. Мы покупали коробки хлопьев со смешными названиями, например “Много орехов”, и желе “Липкий пирог”. Мы смешали желе с водой и эту забавную зеленую смесь скормили птицам. Им очень понравилось. Сойки и кардиналы уплетали ее, словно растаявшее мороженое. Я сказала: Смотри, Рэй! Птицы нас любят! Рэй посмотрел на птиц, посмотрел на меня и засмеялся: Хорошо, что я не очень люблю птиц. Не удивлюсь, если эта штука их убьет. Я сказала: Нет! Нет, смотри! Им нравится! Но Рэй настаивал, что “Липкий пирог” непременно их убьет. А я все равно продолжала его покупать и скармливать птицам, и ни разу не видела у нашего дома мертвых птиц, кроме той сойки, которую поймал наш кот. Они выжили, сказала я Рэю, когда лето закончилось и у дома уже появились крыша и почти все стены.

Посмотри на них, сказала я, указывая на птиц на деревьях. Они любят меня! Может быть, сказал Рэй, возвращаясь к работе: он старался успеть докрасить панель фасада, пока солнце еще не совсем опустилось за холм и не наступила темнота.

После смерти Рэя я жила в дуплексе. Мне нравилось слышать, как соседские дети бегают туда-сюда. Я представляла, как они носятся, словно маленькие собачки, а затем вдруг останавливаются, закрывают глаза и засыпают, падая мордочками вниз. Признаюсь, иногда я специально выходила на лестницу и прикладывала ухо к стене, чтобы услышать звуки семейного вечера, услышать, как отец укладывает спать маленьких сына и дочь, читая им сказку на ночь. Спустя время я поняла, что разум играет со мной злую шутку. Что по ту сторону стены я слышу разговоры, которых на самом деле нет. Однажды я прижалась ухом к кухонной стене и услышала, как муж с женой спорят о “Липком пироге”. Зачем добавлять его в список покупок, если это пустая трата денег? А еще он точно убьет птиц. О боже, подумала я. Это ведь мы с Рэем. И начала плакать. Я испугалась, что попросту придумала эту семью, что на самом деле я жила в обычном доме, а не в

дуплексе, совсем одна. Я выбежала во двор, чтобы убедиться в существовании второй части дома, второй двери и одной общей стены. Я посмотрела на дуплекс. Сложенная пополам дублированная постройка. Рядом с моей частью абсолютно точно примостилась вторая. Я позвонила во вторую дверь. Мне сразу же открыл красивый молодой человек. Фрэн, сказал он. Фрэн, как дела? Вам что-нибудь принести? Или, может, войдете? Нет-нет, спасибо, сказала я. Простите за беспокойство. Мне показалось, что у вас кто-то плакал.

Трудно понять, какие части меня были со мной всегда, какие существовали до Рэя, а какие развивались вместе с ним. Что касается последних: как узнать, какие части я смогла бы развить и без него, а какие бы никогда не появились без нашего знакомства? Например, я художник. Я пишу портреты людей, которые мне нравятся, людей, которые мне интересны. Несколько картин я даже продала за небольшие деньги, а одна городская галерея устроила целую выставку моих работ. Однако я редко показываю портреты тем, кого рисую. Мне кажется, что они им не понравятся, что люди оскорбятся, что я нарисовала их такими. Мои картины нереалистичны, но они всегда изображают конкретного человека, и каж-

дый раз, написав портрет, я не могу не думать о нем как о кратком содержании человека — вот почему я люблю рисовать одних и тех же людей несколько раз, ведь они меняются, и я меняюсь, а потому с течением времени меняются и портреты. Я воспринимаю картины как своего рода диссертацию, посвященную моему пониманию конкретного человека. Я могу оглянуться на все его портреты и понять, как изменилось мое восприятие. Я начала рисовать, будучи молодой мамой. Мне было двадцать четыре, и я целыми днями сидела с нашим маленьким сыном Эдрианом. Пока Рэй был на работе, я спустилась с холма в небольшой магазинчик и купила дешевую детскую акварель, а затем с Эдрианом на руках и красками под мышкой вернулась домой. Я положила Эдриана на один из выцветших ворсистых ковров, вырвала из блокнота несколько страничек и нарисовала сына. Я нарисовала банку с персиками и ложку, а внизу подписала: “ЭДРИАН, 5 МАЯ 1966”. Я рисовала его каждый день целую неделю, а затем начала рисовать людей, которых встречала в продуктовом. Я сажала Эдриана в коляску, складывала краски в нижний отсек, и мы ехали в магазин. Там я стояла в отделе заморозки и наблюдала, как люди открывают обледенелые

дверцы, выпуская изо рта маленькие холодные облачка, и теряются во вкусах мороженого и разнообразии замороженных овощей. В конце концов я сдружилась с работниками магазина, в особенности с одним парнем лет девятнадцати, который, как я подозреваю, был в меня влюблен. Его звали Джордж. На третий день моих походов в отдел заморозки он принес туда табуретку, чтобы я могла присесть. В ответ я посмотрела на него с благодарностью. Я сказала: Спасибо большое, ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Вернувшись на следующий день, я угостила его печеньем, которое сама испекла накануне вечером. Так мы и подружились. В перерывах между раскладыванием продуктов и уборкой он приходил поговорить со мной. Я спрашивала про его жизнь, где живут его родители, есть ли у него девушка, нравится ли ему работа и то, чем он занимается. Он отвечал, что очень нравится, особенно с тех пор, как стала приходить я. У меня появилась привычка звонить в магазин, если я знала, что придется куда-то уехать или остаться дома. Не хотела, чтобы Джордж волновался. Хотела, чтобы он знал, что я с удовольствием сидела бы с ним в отделе заморозки, позировала для его фотографий, делилась с ним яблоками и говорила

о ерунде: уж точно не о Рэе и не о жизни в доме, который мы построили своими руками — со слегка запущенным газоном и крышей, что получилась не такой прочной, как мы планировали.

Я хранила свои картины в большой картонной коробке в шкафу, где помимо нее лежал пылесос и другие принадлежности, о которых Рэй, по моим представлениям, никогда даже не думал. И все же как-то вечером он их нашел и вытащил. Он спросил: Фрэнни, что это? Откуда они взялись? А затем сказал: Фрэнни, они прекрасны. Это ты нарисовала? Да у тебя талант. Продолжай в том же духе! Нужно купить тебе все нужное. Никогда даже в самых сокровенных мечтах я не предполагала, что мои картины можно назвать как-то иначе, чем сплошное недоразумение — показатель моей дефектности, моего неумения по-настоящему понимать людей, не прикладывая титанических усилий. Именно так я и воспринимала все эти портреты — как инструмент, помогающий мне познавать окружающий мир. И вот Рэй говорит, какие они прекрасные! Что они чего-то стоят! Что я просто обязана продолжать! Рэй начал рассказывать о моих картинах нашим друзьям на званых ужинах. Соседу как-то пришла идея превратить наш сарай на заднем дворе в ма-

стерскую, и Рэй был в восторге. Он познакомился с Джорджем из “Сэйфвей”, и они сразу поладили. Рэй даже нанял его поработать у нас во дворе и пригласил на ужин. Вдруг сама мысль о том, что я когда-то боялась и стыдилась своего увлечения, что я считала его чем-то неправильным, показалась мне абсурдной. О моем увлечении начали узнавать и даже при знакомстве представлять меня как художника. И я действительно стала художником. Как-то раз начальник Рэя пришел к нам на ужин и попросил показать мои картины. Я принесла ему портрет из отдела заморозки, на котором изобразила банку с горошком на красном фоне и внизу подписала курсивом: “ЖЕНЩИНА В ШУБЕ И САНДАЛИЯХ”. Начальник Рэя сказал, что картина потрясающая, что ему она очень понравилась, и предложил за нее заплатить. Он хотел повесить ее дома. Я сказала: Ни в коем случае. Это подарок. Забирайте. Но начальник Рэя ничего не хотел слышать и заверил нас, что так или иначе все равно заплатит, и сдержал обещание: в ноябре Рэй получил премию в размере тысячи долларов, которая пришла ему с пометкой “ХУДОЖНИКУ”. Так я и начала творить, и люди стали говорить обо мне как о творце, как о человеке, который рисует. Мне нравилось, что

именно этим я стала известна в нашей небольшой, но сплоченной группе друзей, ведь это давало мне своего рода карт-бланш: неважно, что меня не назовешь приятным человеком, зато у меня были другие качества, из-за которых со мной стоило общаться.

Когда Рэй впервые похвалил мои картины, я ему не поверила. Как было поверить? Я была в ужасе от того, что он вообще их нашел, и подозревала, что он просто издевается или каким-то образом пытается меня контролировать. Тогда я обошлась с ним холодно, а затем расплакалась и сказала: Ты ведь оставляешь меня тут на весь день совсем одну. Пожалуйста, только не злись и не кричи на меня. Рэй никогда не кричал на меня. Позже я поняла, что сама кричала на себя, и те слова, что со страхом ждала услышать от Рэя, говорила себе сама.

Я была хорошей матерью, хоть порой делала то, чего не делали другие знакомые матери: например, брала Эдриана с собой в долгие прогулки — спускаясь с холма, проходила через пригород и вела его в отдаленные места, такие как верфь, где мы наблюдали за приходящими и уходящими людьми и вещами. Если сын спал, я спускалась с

коляской и петляла по дорогам, пока не доходила до развязки: по дороге слева начинались ряды складов. Тем летом, когда Эдриану исполнилось четыре, мы часто ходили к складам. В то лето я чаще всего носила синий сарафан, который сама себе сшила, и большую соломенную шляпу, а Эдриан всегда был в одном и том же зелено-фиолетовом джемпере с принтом. Мы с Эдрианом просто сидели и наблюдали, как рабочие погружают и выгружают мешки с рисом, плиткой, тканями, примерно до половины четвертого, а потом отправлялись домой — по дороге я расспрашивала его о пейзаже вокруг. Эдриан, спрашивала я, что ты видишь? И поначалу, он, разумеется, говорил очевидное, например: Я вижу облака и дерево. Тогда я стала просить его рассказать, что находится за пределами того, что он видит: например, за холмом, на котором мы жили. Я спрашивала: Эдриан, а что за нашим холмом? И он говорил удивительные вещи, например, рассказывал о деревне говорящих кроликов, в которой только что убили кроличьего короля, или о пляже, на котором у всех людей купальники из золотых рыбок. Однажды во время очередной долгой прогулки я спросила его: Эдриан, что за тем деревом? И он сказал: Там мужчина, очень грязный муж-

чина, у него есть плюшевые игрушки, и он спит в траве, но сейчас он прячется. Там и правда стоял мужчина, которого я сначала не увидела, — это меня очень напугало и натолкнуло на не свойственную мне мысль: что подумают обо мне, если с Эдрианом что-то случится? Я стану для них “этой женщиной”, “этой Фрэн”. По вине “этой женщины” ее сына зарезали у складов. Она буквально отдала его убийце, сама предложила ему своего маленького, беззащитного сына, вот что она сделала. Именно этим материнство и застало меня врасплох. Я не из тех, кого волнует, что обо мне думают другие, но я обнаружила, что меня волнует, что другие думают обо мне как о матери. Я хотела быть хорошей матерью. Я хотела, чтобы люди считали меня хорошей матерью, потому что я очень люблю своего сына. И хоть я всегда сомневалась в себе: в том, что я могу делать и кем могу быть, — я всегда была уверена, что умею по-настоящему любить, поэтому мысль о том, что я, возможно, как-то неправильно люблю сына, меня тогда очень пугала. Эта мысль и сейчас является одним из величайших невидимых монстров моей жизни, с которыми я пыталась сражаться, но никогда не знала наверняка, состоялась ли битва, а если и состоялась — то кто победил.

Когда Эдриан вырос, может, года через два или три после окончания колледжа, стало очевидно, что он считает отца идеальным, и меня это очень раздражало. Рэй не был идеальным. Меня подмывало рассказать Эдриану обо всех недостатках его отца. Мне хотелось сказать: Знаешь, он может казаться открытым ко всему новому, но не дай себя провести! Рэй может такого наговорить! Ты бы ужаснулся. Позвольте перечислить все то, что я ненавижу в своем муже. Во-первых, его благожелательность. Если бы мир внезапно стал ярко-синим, он бы совсем не смутился, наоборот, он бы это принял, что совершенно неразумно. Он бы не знал, почему мир стал синим, но ему было бы все равно, и все равно ему было бы до того момента, пока кто-нибудь, например я, не сказал бы ему: Рэй! Синева убивает планету! Тогда он бы сказал: Черт возьми, Фрэн, с этим надо что-то сделать. Но он бы никогда не пришел к этому без моей помощи, и после стольких лет я всерьез задумалась, что должно было произойти, чтобы он сам понял: что-то не так. Например, когда семнадцатилетний Эдриан напился и врезался на машине в дерево, а остаток пути до дома прошел пешком, Рэй сказал: Давай утром поговорим, может, он сможет нам все объяснить. Нет! Нечего

тут было объяснять — этот простой факт Рэй понимал, но осознать до конца не мог. Он не думал ни о причинах, ни о возможных последствиях происшествия. Эдриан мог кого-то убить или умереть сам, но Рэй видел лишь то, что нашему пьяному сыну было больно и грустно. Я же в это время стояла на крыльце нашего неустойчивого самодельного дома, и перед моими глазами был труп Эдриана, часть альтернативной истории, которая была так близка к тому, чтобы стать реальностью. Это сводило меня с ума. Люди обязаны, пусть и временно, сходить с ума, когда их сын чуть не совершил непоправимое. А здравомыслие и хладнокровие Рэя были просто невыносимы. Это напомнило мне о еще одном недостатке Рэя: его полной неспособности кого-либо осуждать, даже с глазу на глаз. Я понимаю, что мир, в котором мы живем, порой заставляет нас взаимодействовать с людьми не вполне приятными, людьми с разными взглядами, разными системами ценностей — таких ценностей, которые, как вы знаете, совершенно точно вредят другим людям. Высокочастотные трейдеры, руководители нефтяных корпораций, женщины с огромными бриллиантами на пальцах. Я имею в виду, что иногда нам просто приходится общаться с такими людьми,

но, когда мы приходим домой, закрываемся в спальне и освобождаемся от рамок приличий, я могу сказать мужу: Какой ужасный человек. И муж ответит: Точно, просто подлец. Но только не Рэй! Боже, для него все обладают презумпцией невиновности. Судя по всему, именно из-за этой его ужасной черты мне пришлось вытерпеть столько неприятных гостей. В конце концов Рэй признавал, что эти люди ужасны, но это занимало очень много времени, а я потом начинала винить себя, словно это я наделила их плохими качествами, хотя они и сами с этим прекрасно справлялись. Я миллион раз повторяла это Рэю, я говорила: Послушай, определить, что перед тобой негодяй, очень просто. У негодяя есть множество признаков. И очень редко, крайне редко человек, в первые пять минут общения показавшийся негодяем, таковым не является. Я говорила ему, что это как с влажностью: она просто ощущается, ты просто чувствуешь ее кожей. Но Рэй никогда не прислушивался к моему совету. Он обвинял меня в том, что я держу в голове кучу оценочных коробок, и как только вешаю на кого-то клеймо негодяя, сразу складываю туда все их слова. Это ложное обвинение: я лишь запоминаю, когда люди говорят гадости. Так все делают, объяс-

няла я ему, кроме, очевидно, тебя, потому что ты настолько глух к нарушениям морали, что наверняка дал бы Нобелевскую премию самому Люциферу. Если Рэй был в хорошем настроении, он просто игнорировал мои слова и несмешно шутил до тех пор, пока я не начинала смеяться или просто не уходила, смиряясь с тем, что живу с человеком, глухим к нарушениям морали. Если же Рэй был в плохом настроении или уставшим, он просто позволял мне говорить, уговаривать его до тех пор, пока от него не оставалось совсем ничего. Он молчал или, если уставал особенно сильно, отвечал: Фрэн, наверняка ты абсолютно права. Был лишь один случай, когда Рэй со мной так и не согласился: когда я сказала, что хочу от него уйти. Он сказал: Фрэн, ты неправа, как доказать тебе, что ты неправа? Он повторял: Посмотри, как сильно я тебя люблю, посмотри. Но мне было очень сложно посмотреть. Эдриан учился в старшей школе, я рисовала на больших холстах и сомневалась в своей технике, а Рэй оставался неизменным, таким же, каким был всегда, и я в нем тоже сомневалась. Сомневалась в его искренности и больше всего — в его способности подарить мне хотя бы частичку себя, чего я после долгих раздумий о нашем браке очень хоте-

ла. Мне хотелось иметь ту его частичку, которой больше ни у кого не было. Когда я порывалась от него уйти, Рэй всегда меня успокаивал, чаще всего применяя физическую силу: он просто обнимал меня, пока я плакала. Он говорил: Я люблю тебя, Фрэнни, просто я не такой, как ты, поэтому ты мне не веришь. Я не могу испытывать твоих чувств, мои чувства не похожи на твои, поэтому тебе сложно их увидеть. Но они есть, Фрэнни, — ты единственное, что когда-либо имело для меня значение, ты знаешь это? Я хочу, чтобы ты знала это. Что мне сделать, чтобы ты поверила?

В чем-то мы с Рэем были очень похожи, а в чем-то отличались настолько, что я ощущала, будто мы с ним животные разных видов, что делало наше сосуществование и тем более спаривание ужасно странным. Конечно, поначалу я этого не замечала. Поначалу мы были просто детьми: жили в городе вдали от родителей, зарабатывали как могли, делили с соседями тесные квартирки и ходили в кино на дневные сеансы, пока не сошли с ума окончательно, не объединили все наши средства и не купили небольшой участок в пятнадцати милях к югу от города. Когда мы только нашли друг друга, нам казалось, будто мы единственные два человека в мире, един-

ственные два человека на вечеринке, в здании, во всем проклятом городе. Это было невероятно. Это ощущение, должно быть, испытывали многие, но оно все еще казалось чем-то нереальным, может, дело в том, что я была слишком молодая (мне было всего двадцать один), но это чувство заполняло все, всю нашу жизнь, все шкафы и всю еду, что мы клали в свои рты. Тогда у нас была близость, и она не имела ничего общего с той теснотой, от которой я хотела сбежать, еще не было ни намека на то, что мы окажемся такими разными, что в один момент я посмотрю на него и подумаю: как вообще мы умудрялись говорить о чем-то? О чем-то важном, вроде нашего дома, нашей жизни, нашего сына?

Я начала подозревать, что Рэй обращается со мной так же, как с моими картинами, — будто я тоже была одним сплошным открытием, что можно бесконечно вытаскивать из коробки и принимать как должное, не моргнув глазом, не сбавляя скорости. Это может звучать заманчиво, но на деле приятного мало. Мне казалось, что мой муж мог бы любить кого угодно: поставь я на место себя своего двойника, он бы ничего не заподозрил. Он бы просто подумал: вот она, новая Фрэн! И как ни в чем не бывало продолжил бы

ужин. Единственный момент, когда я была точно уверена, что Рэй видит настоящую меня, — это когда мы занимались любовью. Он всегда знал, чего именно я хочу, и чем старше мы становились, тем сложнее получалось вспомнить, всегда ли так было. Или, может, он так хорошо изучил мое тело, отточил умение заниматься со мной любовью до такого мастерства, что мог играть мной с непревзойденной ловкостью? А еще я гадала: было ли так во всех парах, которые прожили вместе двадцать лет? У всех ли наступал момент, когда физическое удовольствие становилось таким доступным: единственной надежной вещью, на которую всегда можно рассчитывать, — простая последовательность действий, что непременно приносит огромную, но кратковременную радость? Именно тело, а не разум Рэя было для меня самым реальным. Я чувствовала, что именно оно стало для меня самой понятной вещью в мире. В конце концов, именно тело занимает место в пространстве, его можно увидеть, потрогать, исследовать и запомнить, и да, оно меняется, но лишь незначительно и почти всегда логично: например, волосы Рэя из темных стали белыми, а некогда упругая кожа на заднице, подобно моей, приобрела текстуру бумаги. Его тело со всеми

изменениями имело смысл, тогда как разум, его разум был непознаваем, а изменения делали его еще более запутанным. Когда мы занимались сексом, я осознавала, что совокупляюсь с неким сочетанием тела и разума Рэя, однако мне всегда нравилось видеть в нас два тела. Так было проще и понятнее.

За три года до смерти Рэй вышел на пенсию. Годом ранее неожиданно умер мой отец и оставил нам небольшое наследство в виде денег и собственности. К тому моменту наш с Рэем дом уже полностью принадлежал нам. Поэтому денег было хоть и не много, но мы знали, что на наш век хватит и даже немного останется, чтобы раз в год ездить в одно из тех мест, о которых мы читали и где давно мечтали побывать. Больше всего Рэю нравилось посещать национальные парки: подолгу ехать на машине в центр страны, где можно было увидеть величественные горы, бизонов и радужную форель. Я как-то сказала ему, что идея поехать в Вайоминг на машине — самая что ни на есть американская и что я не уверена, смогу ли это выдержать. Хотя, по правде говоря, мне нравятся горы и горные походы, ведь я и сама была настоящей американкой, и мысль о том, чтобы посмотреть на странных,

древних животных не казалась мне такой уж плохой. На машине мы сможем ездить и в восемьдесят, сказала я. Давай полетим! Хорошо, ответил Рэй. Можно и полететь. Тем летом мы отложили поездку в Йеллоустоун и отправились на месяц в Тоскану, где сняли небольшой домик у виноградников, в котором когда-то хранили вино. Следующим летом мы отправились в круиз Одиссея, а следующим — в Сидней, а потом Рэй умер, так и не увидев Сэдл-Маунтин, Репаблик-Пик, Нидл и другие геологические образования, о которых он читал в своей небольшой книжке под названием “Горы национальных парков США”.

Однажды вечером я сидела одна в своем дуплексе и смотрела передачу о плотинах: о том, как они губительны для рыбы — там говорилось, что, если вы хотите увидеть радужную форель своими глазами, стоит поторопиться, пока она совсем не исчезла. И тогда я подумала, что Рэю бы очень понравились эти глупые рыбы, он бы рассказывал о них соседям, знал бы про них все: в каком месте Снэйк-Ривер их нужно искать, где они нерестятся, — а эта передача стала бы последней каплей. Все! Мы бы поехали в Йеллоустоун за рыбой, и знаете, знаете, я была бы совсем не против, хоть и делала бы вид, что еду неохотно,

чтобы Рэй улыбнулся и позволил мне выбрать музыку в дорогу. А я бы положила голову ему на колени и лежала бы так, пока он бы вез нас в самый центр нашей страны и обратно.

Несмотря на то что после переезда в дуплекс пространства стало значительно меньше, девать его было все равно некуда, поэтому в подвале я устроила гончарную мастерскую, а на втором этаже — художественную. Раньше я никогда не пробовала гончарное дело, но мне просто необходимо было заняться чем-то новым, а идея создания чего-то трехмерного и полезного, куда можно класть сахар или ставить цветы, успокаивала. Я делала большие глазурованные миски и квадратные белые тарелки в деревенском стиле, на которых подавала сыр и фрукты приходящим в гости парным друзьям. На очередном званом ужине в моем дуплексе один из мужей спросил: Фрэнни, ты никогда не думала съездить в художественную резиденцию? Они обычно расположены в очень живописных местах. Будешь путешествовать, встречаться с единомышленниками, у тебя наконец будет время на рисование. Твои картины такие великолепные, и, держу пари, тебе там понравится. Муж, который это предложил, мне не особо нравился, но я его ува-

жала, поэтому решила прислушаться. Первой меня заинтересовала резиденция в Национальном парке Йеллоустоуна, и, конечно, там были домики, в которых летом можно заниматься живописью. К моему удивлению, меня приняли. Поэтому летом 1989 года я упаковала свои краски, собрала удобную одежду для отдыха на природе и поехала в Вайоминг. Всю дорогу у меня из головы не выходили рыбы: как они отчаянно плывут против течения, пока не натыкаются на плотину. Я представляла, как сама, подобно этим рыбам, сталкиваюсь с какой-нибудь гигантской бетонной стеной, что не пускает меня дальше. А на вершине плотины сидит плачущий Рэй, его слезы огромными каплями льются через барьер, смешиваясь с речной водой, оглушая рыбу и меня, пытающуюся пробраться в парк. Я не то чтобы помешала Рэю съездить в Йеллоустоун, я никогда не говорила: О нет, ни за что туда не поеду. Мы просто не успели, времени оказалось слишком мало, я не знала, что времени больше не будет. Поэтому, когда я опустила стекло у контрольно-пропускного пункта и показала рейнджеру удостоверение художника, меня охватила глубочайшая печаль от осознания того, что я правда могла сделать Рэю приятное, но осознанно этого

не сделала. Йеллоустоун стал для меня своеобразным символом всего того, чего так хотел Рэй и чего я ему не дала: еще одного ребенка, доброго слова о его матери, хотя бы одного вечера без критики его коллег, вечера, когда бы я сказала ему: Рэй, я безнадежно люблю тебя, ты стал частью меня, и теперь я никогда не буду одинока. Но эти слова и действия противоречили бы моей сути, как противоречат до сих пор, так что, вероятно, именно Рэй был бы первым, кто заподозрил неладное, и заставил бы меня остановиться.

Мой домик в Йеллоустоуне был в двух шагах от другого домика, в котором жил композитор, мужчина примерно моего возраста, а может, чуть моложе: из своего окна я видела, как он со включенным светом работает ночи напролет. Его звали Барклай Роуленд, но он просил называть его Б. Я спросила, почему у него две фамилии, и получила ответ: Кто знает? Он был очень тихим, худым и жилистым. Казалось, он был просто создан для походов, поэтому я позвала его в поход. Мы подружились, и по вечерам я приглашала его выпить водки с лимонадом у себя на крыльце. У каждого домика стояло кресло-качалка, и вот, когда прошел примерно месяц из трех отведенных нам в резиденции, Б перетащил свое кресло к мо-

ему дому. Он сказал: Мне надоело сидеть на полу! Мне нужно кресло, чтобы пить водку! Конечно, мы спали вместе. Спать с Б, спать не с Рэем, а с другим мужчиной оказалось совсем не так, как я себе представляла. Б завел меня в дом и снял с меня рубашку (конечно, без ворота, о своих сильных сторонах я не забыла), а потом очень нежно и долго целовал, возможно, слишком долго, потому что я, словно подросток, начала волноваться, что мы так и не перейдем к следующей фазе. В конце концов он засунул руку мне в трусы, а дальше произошло и все остальное: не слишком быстро, но слегка сумбурно — я обнаружила, что рассматриваю стену за его спиной, а мысли и вовсе унеслись куда-то в неведомые дали.

Мы с Б расстались друзьями. Поначалу он часто писал, что хочет приехать и пережить со мной еще одно приключение, но я отвечала неохотно, а затем и вовсе перестала. Все картины, над которыми я работала в то лето, все четырнадцать штук, были портретами Рэя. С Б о своих картинах я старалась не говорить. Я показала ему лишь несколько фрагментов, пропитанных символизмом, которые можно было принять за графические зарисовки, так что мне не пришлось объяснять Б, что на самом деле я рисую и что

на самом деле пытаюсь запечатлеть посреди этого летнего леса. Б, конечно, спрашивал об их значении для меня, но я лишь отвечала, что это образы, которые я видела, пока засыпала, сновидения, что приходили в мое уплывающее сознание. После того лета с Б я спала и с другими мужчинами. Но спать с другими мужчинами всегда было нелегко. Думаю, легкость терялась среди моих проблем с самоидентичностью: я не понимала, какие части принадлежат мне, а какие Рэю, и какие части стали моими лишь из-за Рэя. Когда я спала с другими мужчинами, я не могла отделаться от мысли, что они трахаются не только со мной, но и с Рэем, доставляя удовольствие нам обоим, будто я каким-то образом стала физическим воплощением нас обоих. Нет, Рэй не находился с нами рядом, не наблюдал со стороны. Он сидел у меня в груди, занимал половину моего мозга и тела, участвующего в половом акте. Это очень странно, потому что, когда Рэй был жив и мы занимались сексом, я всегда была уверена в своем теле: что оно мое и только мое — точно так же, как я была уверена в его теле. Поэтому поначалу такая неопределенность и уязвимость меня тревожили, однако потом я научилась жить с этим чувством, и оно больше не мешало мне

делать что угодно.

Имея тело, мы все сталкиваемся с одной отвратительной особенностью: мы не знаем, из скольких частей оно состоит, пока они все не сломаются. Меня не пугает старость, не смущает то, как она выглядит, мне во многом нравится выглядеть так, как я себя чувствую, а очень старый и очень уставший вид и вовсе можно назвать преимуществом. А еще мне нравится выглядеть эпически. Мне говорили, что сейчас я выгляжу именно так, и, будучи старой женщиной, я определенно этого заслуживаю. Однако часть меня подозревает, что я всегда выглядела весьма стоически, просто теперь стала достаточно взрослой, чтобы чувство отстраненного превосходства стало приемлемым.

Сейчас я живу в доме, окруженном другими такими же домами, где живут такие же пожилые люди, по утрам ко мне приходит женщина средних лет по имени Мария, чтобы помочь одеться и выйти на прогулку. Эдриан часто приезжает в гости со своей женой, маленькой дочкой и собачкой, а я минимум раз в год рисую их семейный портрет. Я отказываюсь показывать их Эдриану, что, пожалуй, глупо, но зато жене Эдриана, Элле,

они очень нравятся — именно она каждый год настаивает, что пора сделать еще один портрет. Мне это очень приятно, я чувствую, что еще для чего-то нужна: вот моя внучка Молли снова терпеливо сидит у меня на картине, а вот еще не полысевший Эдриан мастерски позирует мне со своей привычной улыбкой. Когда я призналась, что мне не помешает помощь, они предложили мне жить у них. Но я сказала: Нет-нет. У вас своя жизнь, а у меня своя. У меня есть картины, которым, как вы знаете, я уделяю очень много времени, а вы постоянно будете меня отвлекать. Заглядывать мне через плечо. У меня в доме, который мои помощницы зовут Коттеджем Восемнадцать, есть уютное место для рисования. Я по-прежнему люблю писать портреты. Я рисую Софию, свою медсестру, и своих соседей: например, Деметрия, бывшего подрядчика, или Гэри, бывшего банкира в дорогой одежде. Весьма примечательно, что впервые в жизни меня охватило желание рисовать собственные портреты. Когда я рисую себя, по краям проступает Рэй, он прячется на изнанке холста, между краской и тканью — между мной и настоящей мной. Вы слышали разговоры о душах? В домах престарелых об этом говорят часто. Вас пытаются убедить,

по-видимому, пытаясь успокоить, что есть некая часть вас, которая остается неизменной, она была задолго до вашего рождения и будет жить после вашей смерти. Хоть я и не верю в неизменную сущность, но что-то в этой идее есть: в идее о том, что есть вещи, способные изменить нас навсегда, люди, что селятся внутри нас и никогда уже не уходят. Ведь Рэй умер несколько десятилетий назад, для кого-то могла бы пройти целая жизнь, кто-то мог бы полностью измениться, изменить того себя, что каждый день встает с постели и выходит из дома в большой мир. Я не говорю об этом Эдриану, но, кажется, во мне до сих пор живет частичка Рэя, которую он оставил во мне и от которой я не могу избавиться. Это заставляет меня задуматься: кем бы я была, если бы не была собой? Кем бы я была, если бы не была просто Фрэн? Может, наши парные друзья были правы, наши старые друзья, которым так нужна была идея о Рэе и Фрэн, чтобы приглашать нас в гости и в совместный отпуск. Раньше меня так возмущала эта нужда. Я была собой и хотела, чтобы все об этом знали. Но, может, это было правдой: Фрэн, мать и художник, просто не существовала без Рэя, без своего спокойного супруга. Может, именно поэтому автопортреты и получаются такими:

с призраками по углам, “Липкими пирогами” и радужной форелью. А может, я все же просто Фрэн. Рэй умер, а я осталась. И во мне ничего от него нет. Он просто сел в свое удобное кресло, закрыл глаза и покинул тело через макушку. Тогда все, что таится на задворках моей личности, — это лишь желание не оставаться наедине с собой в этом Коттедже Восемнадцать, желание не быть одиноким дрожащим человеком, желание быть в паре, чтобы не быть одной.

Неф

Отец говорил, что у нашей церкви есть живот. Он назывался нефом и располагался в самом центре креста на пересечении двух структурных линий. Я никогда не видел, чтобы неф кормили, и боялся, что он голоден. Когда мы ходили в церковь, я приносил нефу то, что должно было ему понравиться. Я набивал карманы миндалем и засовывал в ботинки мармеладных мишек. Будучи уверенным, что неф меня слышит, я наклонял голову и шептал: “Знаю, должно быть, ты голоден, ведь взрослые приносят тебе лишь деньги”.

Я вытаскивал свои подношения, прятал их под ковер и слегка разминал ногой, чтобы нефу не приходилось жевать. Я приносил ему изюм, хлопья, а иногда даже мед. Все это я прятал у себя в пиджаке и, пока взрослые не видели, кормил прожорливый неф точно так же, как родители кормили меня.

Я всегда сидел на одном и том же месте, потому что мне нравился запах тухлятины, который исходил от нефа. Другие дети не хотели садиться рядом, и родителям не нравилось, что я сижу

один. Спустя несколько недель взрослые начали принюхиваться и говорить, что от места, где я сижу, дурно пахнет.

Я лгал им: “Я провожу время наедине с Господом”. Неф стал от меня слишком зависим. Я знал, что если не буду кормить его, то стану следующей закуской.

Как-то в одно из воскресений дома закончились закуски, и я закатил истерику. Я отказывался идти в церковь, но мать была непреклонна: она вытащила меня из дома, засунула в машину, и мы поехали. Там меня усадили на новое место — я сидел на скамье между родителями.

Всю литургию я слушал, как бурлит церковное чрево. Неф стонал и вопил. Ему хотелось батончика-мюсли. Ему хотелось крекеров-рыбок. Ему хотелось всех закусок, что я когда-либо приносил, и хотелось немедленно.

Я понял, что неф вот-вот проглотит меня, и заплакал. Я приготовился смотреть, как разверзнется земля. Как тонкий красный ковер разорвется пополам и откроет мясистую пещеру, полную тысячами зубов, которые будут становиться все больше и в конце концов превратятся в настоящие кинжалы. А в центре, в окружении всего этого, появится маленькое отверстие, куда

будут стекать соки пережеванных людей — стекать прямиком в божественный желудок.

Руки над головой

Мэри читала, а Эйнсли слушала.

— Не делай пауз между страницами, — посоветовала Эйнсли. — Это прерывает повествование. Тебе стоит читать несколько строк заранее или говорить медленнее, пока не перевернешь страницу, чтобы произнести предложение без заметных пауз.

Мэри прочитала:

— Уроборос умерщвляет, сочетается браком и оплодотворяет сам себя. Он — мужчина и женщина, оплодотворяющий и оплодотворяющийся, пожирающий и дающий жизнь, активный и пассивный, сверху и снизу.

— Верно, — сказала Эйнсли. — Здесь все понятно.

— Разве? — спросила Мэри. — Но как он может спариваться сам с собой?

— Засовывает хвост себе в рот, вот как.

— Значит, он размножается метафорически, — сказала Мэри.

— Не глупи, — ответила Эйнсли. — Это наука.

Мэри продолжила читать, а Эйнсли — слушать.

Мэри балансировала на табурете, скрестив ноги. Эйнсли лежала на полу, раскинув в стороны руки, ноги и волосы. Обе были умными, но весьма юными и податливыми, поэтому еще не было понятно, которая из них умнее. Они единственные в своем окружении читали много книг, поэтому часто читали вместе, но помимо этого они долго гуляли по лесам вокруг их домов, а летом загорали и плавали в общественном бассейне.

Кем только они себя не считали, но прежде всего они считали себя теми, в ком другие видят молодых женщин, что, очевидно, влекло за собой множество неприятностей, с большей частью которых они уже столкнулись, но пока еще не со всеми. Между собой они шутили, что на самом деле они не девочки, а растения, чьи души по ошибке направили не в те сосуды, а потому секс не имел для них особого смысла и всегда требовал долгих обсуждений. Оправдывая свои растительные альтер-эго, девочки иногда называли друг друга Розочкой и Беляночкой, потому что у Мэри были темные пышные кудри, как у Розочки, а у Эйнсли — светлые прямые волосы, как у Беляночки. Кроме того, они жили в таком месте, куда можно было добраться только по лесу, и им казалось, что они живут в своей любимой

сказке: они всегда ходили друг к другу в гости по тропинкам, усыпанным сосновыми иголками, — поэтому хорошая шутка в итоге превратилась в настоящую приятную фантазию о том, что однажды они и правда станут розами и окажутся в одном букете.

— Как можно быть одновременно и сверху, и снизу? — спросила Мэри.

— Находясь внутри чего-то другого, — сказала Эйнсли.

— А-а, понятно.

В гостиную, где они читали, вошла мама Мэри. Она была в брючном костюме и выглядела очень уставшей, волосы были зачесаны в тугой хвост, а в трещинах на губах затаилась помада.

— Как думаешь, как можно съесть самого себя? — спросила Мэри у мамы.

— Чего хотите на ужин? — спросила мама Мэри.

Эйнсли подтянула колени к груди и села, а Мэри слезла с табурета. Девочки последовали за мамой Мэри на кухню.

На кухне уже сидели папа и младший брат Мэри, а на столе стояла миска с апельсинами. Младший брат Мэри едва научился жевать и сидел пристегнутый к детскому стульчику с

поддоном, собиравшим всю еду, которую ему не удалось размазать по лицу или донести до рта.

— Спасибо, что пригласили на ужин, — сказала Эйнсли.

— Поверить не могу, они закрывают еще один офис, — сказал папа Мэри.

— Пожалуйста, давай поговорим о чем-то другом, — попросила мама Мэри.

— Ну что, Эйнсли, хочется снова в школу? — спросил папа Мэри.

Эйнсли не хотелось снова в школу, потому что ее заставили записаться на физкультуру, в отличие от Мэри, которая и так планировала ходить на несколько спортивных секций, включая футбол. Эйнсли не любила спорт. Мэри посоветовала ей попробовать что-то одиночное, например, бег или плавание. Это лучше, чем после физкультуры потной сидеть на уроках и на перемене поспешно переодеваться в шорты. Эйнсли так и не придумала, какой из вариантов принесет ей меньше страданий. В итоге из-за своей нерешительности она пропустила срок записи в спортивные секции, и, таким образом, ее автоматически внесли в списки тех, кто обязан ходить на физкультуру.

— Я очень хочу перейти в старшую школу, — сказала Эйнсли, подразумевая, что устала быть

ребенком.

Это было не совсем правдой, потому что она подозревала, что и взрослым она быть устала. Как бы то ни было, это не имело значения, потому что папа Мэри снова заговорил об офисах и о том, чего он хочет от своей компании и чего компания, по-видимому, хочет от него. Мэри заметила, что папа выпускает слова в воздух, словно спороносное растение. Он смотрел на маму Мэри, но его слова беспорядочными брызгами разлетались повсюду — по всей кухне, и Мэри это показалось отвратительным.

— Нам было бы странно есть самих себя, — сказала Эйнсли, обкусывая куриную ножку. — Отсутствие хвостов, разумеется, не помеха, однако процесс будет беспорядочным. Конечно, это вполне осуществимо, другой вопрос: насколько мы продвинемся? Хотя с помощью наркотиков или чего-то такого должно получиться неплохо.

— А мне кажется, речь скорее о метафорическом поглощении, — сказала Мэри. — Может, имеется в виду самопознание? Однако в идее поглощения есть своеобразная жестокость. Может, тогда способность людей к самоуничтожению?

— Думаю, каждая из нас должна задать себе этот вопрос. Смогла бы я съесть себя? Что ж, как

я и говорила до этого, вопрос только в том, насколько мы продвинемся.

Мэри и Эйнсли вышли из-за стола и помыли за собой посуду. Они вернулись в гостиную, сели за компьютер и зашли на сайт городской библиотеки, где заказали несколько книг о каннибализме.

— Розам, должно быть, невероятно сложно съесть себя! — пошутила Эйнсли.

— Пожалуй, ты права, — хихикнула Мэри. — У нас бы не было рта, чтобы засунуть себя туда. Сначала пришлось бы как-то преобразовать свои тела в свет, а затем научиться поглощать солнечные лучи.

— Звучит повеселее, чем засовывать в себя конечность за конечностью, — сказала Эйнсли.

В девять часов вечера Эйнсли собралась домой. Мэри ее обняла и проводила до заднего крыльца, откуда Эйнсли отправилась в лес. Ее золотисто-белые волосы развевались за спиной, а Мэри следила, как светлые пряди растворяются в чаще деревьев.

Утром они встретились в библиотеке, чтобы забрать свои книги о каннибализме. Набив ими рюкзаки, они вышли на улицу и свернули влево. Они пошли вдоль главной магистрали. Справа

мимо них проносились машины. Одна из них замедлилась прямо рядом с девочками и опустила стекло. Внутри сидело четверо или пятеро парней, на вид им было лет двадцать. Один высунул голову из окна и что-то крикнул Мэри и Эйнсли. В машине пульсировала музыка. Несуразный комментарий молодого человека касался внешности обеих девочек и подразумевал его желание их изнасиловать. Эйнсли и Мэри не посмотрели ни на мужчин, ни друг на друга. Они схватились за лямки своих рюкзаков и уставились вперед. Замедлившаяся машина мешала движению, и грузовик сзади начал нетерпеливо сигналить. Молодые люди закрыли окно и уехали, а девочки продолжили свой путь, только Эйнсли предложила все же уйти от дороги и пройтись по лесу. Добравшись до парка у городской площади, они в изнеможении сели на скамейку. Мэри рассеянно читала вслух, едва открывая рот. Шум от дороги в отдалении казался особенно резким. Эйнсли, которая обычно возмущалась, если что-то мешало читать, на этот раз не жаловалась. Пока Мэри читала статьи из психологических журналов, где выдвигались теории относительно желания съесть себя, Эйнсли положила голову ей на колени и слушала. Почти все сходились во мнении,

что это половое влечение, гипертрофированное желание совокупляться с самим собой, вводить в свое тело собственную плоть и таким образом доводить себя до оргазма.

— А если хочется съесть человеческую плоть, но чужую? — спросила Эйнсли. — Если хочется съесть не себя?

Мэри положила журнал на скамейку.

— Думаю, у этого должна быть совсем другая причина, — сказала она. — Это больше похоже на одержимость, на желание обладать кем-то настолько сильно, что хочется уничтожить.

— Но что, если это не желание уничтожить? — спросила Эйнсли. — Что, если это желание заняться сексом?

— Подожди, — сказала Мэри и снова начала листать страницы. — Может, между теми, кто хочет съесть других, и теми, кто хочет съесть себя, и правда есть сходство.

— Быть таким человеком очень грустно, — сказала Эйнсли. — Кого-то другого и правда можно съесть. Эту фантазию хотя бы можно осуществить. Но вот съесть самого себя? Не выйдет.

— Но ведь в этом и есть смысл уробороса, разве нет? — спросила Мэри. — Именно это он и сделал.

— Мы этого не знаем, — сказала Эйнсли.

— Ну, книга на это намекает, — сказала Мэри. — Страница после иллюстрации пуста.

Мэри нашла статью о мужчине из Японии, которому хотелось съесть и других, и себя. Она прочла, что японец и в самом деле кого-то съел: он выстрелил в затылок молодой француженке и положил ее тело в холодильник. Психиатр, который и написал эту статью, приложил к ней несколько стенограмм своих разговоров с японцем. Самую интересную часть Эйнсли прочитала вслух:

В: Зависит ли ваше желание съесть человека от его пола?

О: Да. Мне всегда хотелось съесть только женщин.

В: Когда вы впервые почувствовали желание съесть женщину?

О: Когда я учился в первом классе. Мне захотелось съесть девочку. Ее звали Юи. У нее были длинные прямые волосы, которые ее мама всегда подвязывала фиолетовым бантом. Однажды я забыл пенал, и она поделилась со мной ручкой. Наши руки тогда соприкоснулись, и я почувствовал, что хочу ее съесть.

В: Вам хотелось заняться с Юи сексом?

О: Думаю, я не знал, что такое секс. Я учился в первом классе.

В: А сейчас, когда вам хочется съесть женщину, вам хочется заняться с ней сексом?

О: Да.

В: Вам хотелось заняться сексом с француженкой, которую вы застрелили?

О: Да.

В: Перед выстрелом вы ее изнасиловали?

О: Нет.

В: А после выстрела вы ее изнасиловали?

О: Нет.

В: Почему?

О: Потому что мне слишком сильно хотелось ее съесть. Я был слишком занят и взволнован. Я отрезал кусочек от ее ягодицы и положил себе в рот.

— Не думаю, что этому японцу хочется съесть себя, — сказала Эйнсли.

— Да, — согласилась Мэри. — Думаю, ему хочется есть только других.

Эйнсли и Мэри продолжили обсуждать книги по психологии, а полуденное солнце постепенно клонилось к закату, намекая на приближение вечера. Мимо их скамейки прогуливались другие жители города, в основном молодые матери,

сиделки и пенсионеры.

— Они смотрят на нас, — сказала Мэри.

— Кто? — спросила Эйнсли. — Те старушки?

— Да, — сказала Мэри. — На нас постоянно кто-то смотрит.

— Но и мы постоянно смотрим на других, — сказала Эйнсли. — Люди есть практически везде, все смотрят на всех.

— Но не все смотрят одинаково, — сказала Мэри. — Те старушки смотрят на нас не так, как смотрели парни из машины. И на тебя я смотрю не так, как смотрели на меня те парни.

— Ну, взгляд парней из машины означает жестокость, вернее, он подразумевает жестокость, — сказала Эйнсли. — Они могли бы даже ничего не говорить, их намерения все равно были ясны.

— А как смотрю на тебя я? — спросила Мэри. — Что содержится в моем взгляде?

— Вопросы, — сказала Эйнсли. — И это главное отличие. У тех парней из машины не было к нам никаких вопросов, потому что они заранее решили, что нам нечего предложить, кроме тел, к которым не было вопросов, ведь их и так было видно.

В час дня Мэри и Эйнсли зашли в гастроном и

заказали сэндвичи. Дождавшись их у прилавка, они поблагодарили продавца, забрали свои сэндвичи, завернутые в белую бумагу для мясных продуктов, и вернулись в парк. После еды Мэри и Эйнсли обсуждали летающих по парку птиц и решили, что в следующий раз непременно отыщут книги о птицах, которые живут в лесу рядом с их домами.

Последние несколько недель лета пролетели быстро. Мэри и Эйнсли еще многое планировали сделать до начала учебы. Мэри подслушала, что где-то посреди леса есть место для купания, и девочки собирались его найти. А Эйнсли хотела непременно совершить несколько походов. Обе хотели купить печатный станок, который можно было бы использовать для творческих проектов. К концу лета место для купания они найти успели, а вот печатный станок — нет. В понедельник на День труда весь город отдыхал, а уже во вторник, третьего сентября, началась школа. Расписания Мэри и Эйнсли выглядели одинаково, за исключением урока физкультуры:

Мэри Эйнсли

1. Всемирная история 1. Всемирная история

2. Естествознание (углуб.) 2. Естествознание (углуб.)

3. Испанский язык III 3. Испанский язык III
4. Алгебра I 4. Алгебра I
5. Самостоятельная работа 5. Физкультура
6. Английский язык 6. Английский язык (углуб.) (углуб.)

С понедельника по четверг после учебы у Мэри была часовая тренировка по футболу. Она боялась, что Эйнсли рассердится, ведь они не смогут ходить домой вместе. С другой стороны, Эйнсли сама выбрала физкультуру.

— Почему тебе нравится футбол? — спросила Эйнсли.

— Потому что он помогает почувствовать, какое сильное у меня тело, — сказала Мэри. — Мне нравится, как напрягаются мышцы ног и как мяч стучит по кроссовкам. В этом есть жестокость. Я чувствую жестокость, на которую способно мое тело.

— Тебе никогда не хотелось сделать кому-то больно? — спросила Эйнсли.

— Постоянно, — сказала Мэри. — А тебе?

В первый день занятий ничего особенного не произошло. Девочки встречали знакомых и незнакомых людей. Школа была большим и уродливым бетонным блоком, который, как обнаружила Мэри, был спроектирован архитектором,

строившим тюрьмы. На окнах стояли решетки. Эйнсли пошутила, что стены одного из кабинетов их школы точно должны быть мягкими.

На всемирной истории мистер Рейнхарт сразу сообщил, что его урок будет посвящен по большей части умершим людям из далеких земель.

— Что значит “далекие земли”? — спросила Эйнсли на перемене.

— Думаю, он имеет в виду давно мертвые цивилизации, которые в силу прошедшего времени уже не могут нам угрожать, — сказала Мэри.

— А-а, понятно.

Позже на этой неделе учительница английского миссис Тулли задала прочитать роман о девушке, отец которой хотел найти ей жениха, а она этого не хотела, пока не заметила, что один из ее поклонников не так уж и плох. Мэри и Эйнсли роман не понравился: они решили, что главная героиня слишком флегматична и совершенно нелогична.

— Разговоры в этой книге не имеют никакого смысла, — сказала Эйнсли. — Они просто перекидываются фразами, будто в теннис играют.

— Я никогда не играла в теннис, — сказала Мэри.

— Я тоже. Но я видела, как в него играют, и

видела людей, которые точно так же перекидываются фразами, — сказала Эйнсли.

— Но если разговор похож на теннис, это значит, что он должен быть непрерывным и оба участника должны перекидываться одной и той же идеей. А в книге все было иначе, — сказала Мэри. — В книге персонажи просто бросаются мячами в других, но никогда не получают их в ответ.

— Ты права, — сказала Эйнсли. — Наверное, разговоры в этой книге можно сравнить с неудачными теннисными партиями.

— Хочешь, как-нибудь поиграем в теннис? — спросила Мэри. — Мы могли бы научиться вместе. Рядом с общественным бассейном есть корт.

— Что-то не хочется, — ответила Эйнсли. — Мысль о дополнительной конечности по типу ракетки меня не радует, это сложно.

— Понимаю, — сказала Мэри. — Думаю, это одна из причин, почему мне нравится футбол: достичь успеха можно и без дополнительных конечностей.

— Мне не нравится футбол, — сказала Эйнсли.

— Я знаю.

В тот вечер, когда Мэри вернулась домой, ей поручили присмотреть за младшим братом, пока

мама была на кухне. За братом Мэри было легко присматривать: он был пристегнут к своего рода ходункам с подносом, встроенными ремешками для подгузников, которые помогали ему стоять, и колесиками, которые позволяли брату ездить по гостиной, просто перебирая ногами. Над головой у него была закреплена конструкция в форме мультяшной радуги. С нее свисали разные игрушки, с которыми младший брат Мэри иногда играл, словно котенок. Он поднял голову, увидел игрушечное солнце и попытался его ударить, слегка подтолкнув ходунки вперед и упершись ими в край ковра. Дотянуться до игрушки не получилось: он был слишком мал. Брат Мэри нахмурился и открыл беззубый рот, собираясь закричать. На несколько мгновений он застыл в таком положении, будто чтобы подготовиться к истерике. Мэри подумала, что это, должно быть, одно из самых страшных зрелищ, которые она видела в жизни. Раздался крик, полетели слюни. Из кухни вышла мама.

— Мэри, что с ним случилось? — спросила мама.

— Не смог дотянуться до игрушки, — сказала Мэри. — Он слишком маленький.

— Так что же ты ему не помогла? — в ярости

спросила мама, наклонилась и опустила игрушечное солнце пониже, брат Мэри тут же схватил его и засунул в рот.

— Он думает, что это еда, — сказала Мэри.

— Нет, — ответила мама. — Он просто так играет.

— Пытаясь съесть? — спросила Мэри.

— Да.

На следующий день Мэри и Эйнсли встретились перед школой, чтобы почитать и обсудить младшего брата Мэри. Они сели на скамейку для пикника на центральной площади, и Эйнсли начала читать вслух книгу по психологии, где говорилось, что противоположности притягиваются.

— Не думаю, что противоположности притягиваются, — сказала Мэри. — Мой брат — моя полная противоположность, и меня он совершенно не притягивает. Только отталкивает. Я могу говорить, а он — нет. Ему нужны родители, а родителям нужна я. Что может быть более противоположным и отталкивающим?

— И правда, похоже на ложное утверждение, — сказала Эйнсли. — Или, по крайней мере, условное. Ты права, противоположности не притягиваются, даже с научной точки зрения. На-

пример, алмазы не магнитятся к углю. Но автор, как мне кажется, говорит не об этом: если у двух людей есть некая общая база — например, они оба достаточно умны и умеют говорить, — то есть вероятность, что вас будет притягивать именно то, чем вы отличаетесь.

— Но все чем-то отличаются, — сказала Мэри. — Если кто-то ничем не отличается от тебя, значит, он — это ты, а никто, кроме тебя, не может быть тобой.

— Вспомни Беляночку и Розочку, — сказала Эйнсли. — Именно из-за своей противоположности они так хорошо друг друга дополняют, и именно этим интересны для повествования. Их полная противоположность захватывает читателя.

— Они не такие уж и разные, — сказала Мэри. — Их главное отличие — цвет волос. Они сестры и обе превращаются в розы. И по сути, они всю историю говорят одно и то же, например: “О! Мистер Медведь, какой вы страшный, но с вами так весело играть! Почему вы умеете говорить? Берегитесь гнома!” А потом глупая Розочка додумывается выйти замуж за медведя, когда тот принимает человеческий облик, но кажется, и Беляночка не против сделать то же самое. Точь-в-

точь как в той книге, что мы читали для миссис Тулли! Только сказка все же интереснее, ведь в ней девочки превращаются в растения.

— Разве это интересно? — спросила Эйнсли. — Беляночка, по сути, предает Розочку, забрав себе более могущественного жениха, принца. Они, конечно, превращаются в растения, но если это растение — роза, то это довольно скучно.

— Ты права, — сказала Мэри. — Вот если бы они превращались в тыквы или в салат-латук. Я люблю тыквы. Думаю, я бы хотела быть тыквой.

— Давай больше не будем называть друг друга Беляночкой и Розочкой, — сказала Эйнсли. — После прочтения той книги для миссис Тулли они больше не кажутся мне достойными подражания. Будем перевоплощаться в кого-то получше.

После этого Мэри и Эйнсли пошли на испанский. Их учительница, сеньора Макдональд, попросила Эйнсли сесть, а Мэри — выйти к доске. Учительница была одета в кожаную юбку до колен и серую водолазку без рукавов. Сеньора Макдональд — женщина с вьющимися морковными волосами и ярко-красными губами — обычно говорила по-испански, но в тот день перешла на английский.

— Мэри, пожалуйста, встань лицом к одно-

классникам, — сказала сеньора Макдональд.

Мэри встала лицом к одноклассникам. Мэри сняла рюкзак и положила его на пол. Весь класс смотрел на Мэри.

— Подними руки над головой, Мэри, — сказала сеньора Макдональд.

Мэри подняла руки над головой, затем посмотрела на сеньору Макдональд, а сеньора Макдональд посмотрела в ответ. Затем она подняла палец и указала на три дюйма оголившегося живота Мэри над линией брюк.

— Живот, — сказала сеньора Макдональд. — Вопиющее нарушение дресс-кода. Джинсы с низкой посадкой и обтягивающие рубашки препятствуют учебному процессу. Мэри, твоя задача — учиться вместе с остальными, а не отвлекать их. Можешь опустить руки. Пожалуйста, возьми свои вещи и отправляйся к директору. Я отмечу, что ты отсутствовала на занятии по неуважительной причине.

Мэри взяла рюкзак и пошла в кабинет директора. Эйнсли покраснела и решила, что сейчас прямо перед всеми встанет и выйдет за дверь вместе с Мэри, но та уже исчезла, а сеньора Макдональд перешла на испанский и продолжила урок. Больше никто ничего не сказал, и нужный

момент был упущен, поэтому Эйнсли осталась на своем месте и задумалась, чтобы, когда они встретятся с Мэри после урока, у нее уже был готовый план действий.

Кроме Мэри, в кабинете директора никого не оказалось. Она села, сложила руки на коленях и стала ждать мистера Флавина, прокручивая в голове произошедшее. Она представила, как сидит в директорском кресле. Затем представила, как стоит на уроке испанского перед всем классом, демонстрируя голый живот. Она почувствовала, как палец сеньоры Макдональд с острым накрашенным ногтем упирается ей в кожу прямо над тазовой костью и как весь класс смотрит на этот палец, будто сеньора Макдональд вот-вот пронзит Мэри насквозь и поднимет в воздух — на всеобщее обозрение. Вошел директор Флавин.

— Здравствуй, Мэри, — сказал мистер Флавин. — Как ты?

— Не очень, — сказала Мэри.

— Почему же? — спросил мистер Флавин.

— Полагаю, вы знаете, почему я здесь, так что сами лучше ответьте на этот вопрос, — сказала Мэри.

— Что за тон! — сказал мистер Флавин. — Под стать наряду! Думаю, ты еще не раз вляпаешься в

неприятности в этой школе.

— Не понимаю, что не так с моим тоном, — сказала Мэри.

— Позволь объяснить тебе кое-что, — сказал мистер Флавин. — Ты сейчас в таком возрасте, когда еще не вполне осознаешь, какой привлекательной стала для мужчин. Мужчины хотят заняться с тобой сексом. И твой наряд побуждает твоих одноклассников хотеть заняться с тобой сексом, думать о сексе с тобой, а не об учебе.

Закончив свою речь, директор Флавин открыл дверь кабинета и отпустил Мэри на следующий урок — алгебру. К счастью, весь урок им нужно было решать задачи вместе с напарником, поэтому Мэри и Эйнсли смогли беспрепятственно поговорить и поделиться друг с другом подробностями того, что с ними произошло после их разделения.

— Как думаешь, директор Флавин хочет съесть себя или других? — спросила Эйнсли.

— Конечно, других, — сказала Мэри. — В основном меня.

— Это ужасно, — сказала Эйнсли. — У него пасть, как у сома. Не хотела бы, чтобы моя нога попала ему в рот.

— Я тоже, — сказала Мэри.

— А сеньора Макдональд? — спросила Эйнсли. — Она хочет съесть себя или других?

— Думаю, она хочет съесть себя: в том смысле, что себя она ненавидит и ищет тех, на ком могла бы выместить свою ненависть. А может, она просто не особо умна и стала отражением желаний директора Флавина. Вдруг он как-то ее контролирует и заставляет действовать в своих интересах?

— Думаешь, сеньору Макдональд контролирует директор Флавин? Или, может, что-то другое? — спросила Эйнсли.

— Точно! — сказала Мэри. — Мы ведь не знаем, кто контролирует самого директора Флавина! Ему точно не хватит мозгов контролировать себя самому. Он не может существовать в одиночку. Думаю, мой отец тоже существует где-то рядом с ним.

— Думаю, и мой отец тоже.

Мэри и Эйнсли сдали свои задания мистеру Локни, а затем вышли из класса и отправились на обед. Они спустились в центральный двор на небольшую лужайку. Вокруг возвышались стены школы, практически полностью заслоняя собой свет. Они положили на траву куртки и, скрестив ноги, сели напротив друг друга.

— Я как-то читала одну историю, — сказала Эйнсли. — Похожую на ту, что произошла с тобой на уроке сеньоры Макдональд, только гораздо более откровенную. Ты читала историю Дафны? Женщины, за которой гнался Аполлон и которая потом превратилась в дерево.

— Конечно, — сказала Мэри. — Мы ведь вместе читали древнегреческие мифы у меня дома.

— Точно, — сказала Эйнсли. — Так вот, история, которую я читала, похожа на историю Дафны, только лучше, потому что в ней раскрываются мысли женщины и то, как именно она спасается от преследователей. Женщину зовут Норея, и живет она в Египте. За ней гонится царь, однако некоторые считают его самим дьяволом. Царь и его друзья-дьяволы бегут за Нореей и кричат: “Норея, мы тебя изнасилуем!” А когда они ее настигают и уже собираются изнасиловать, она вдруг побеждает: она переносит свой дух в дерево и смотрит, как преследователи насилуют ее тело, считая, что она внутри. Она смеется над ними, ведь ее настоящим телом стало дерево.

— Похоже, ее просто убили, — сказала Мэри, — и изнасиловали труп. Не думаю, что она победила. Смерть нельзя назвать победой.

Обед закончился и девочки разошлись по своим

урокам: час самостоятельной работы и физкультура. После последнего урока, английского с миссис Тулли, Эйнсли пошла домой, а Мэри — на тренировку по футболу.

Мэри в футбольной форме сидела на горячей алюминиевой скамейке с остальными девочками, ожидая начала тренировки. На ней были тонкие спортивные шорты и футболка с названием колледжа ее отца. Мэри надела щитки, длинные носки с черными полосами сверху и бутсы. Они пахли потом и грязью, потому что летом Мэри нарезала в них круги по полю. Она хотела подготовиться к университетским просмотрам и обкатать кроссовки. Мэри нравилось бегать в одиночестве, и сейчас она испытывала ту же эйфорию, разминаясь перед тренировкой, по очереди огибая ворота. Когда все спортсменки собрались, команда выполнила несколько совместных упражнений, в основном эстафет: в завершение интервала им нужно было коснуться руками травы. В перерывах между забегами они упражнялись с мячом: подбрасывали его коленями, перекидывая взад-вперед, контролировали его ногами и по очереди отбивали головой. Мэри отбила мяч три раза, четыре, а затем и все двадцать. Голова слегка закружи-

лась, зрение затуманилось. Еще раз, сказала себе Мэри и отправила мяч лететь по дуге. Темно-каштановые локоны подпрыгивали вверх-вниз. Мэри отвела назад руки и выпятила грудь, чтобы принять обратный бросок. Она чувствовала, как густеет кровь, а руки и ноги становятся сильнее. Вот как ощущается превращение в дерево, подумала Мэри. Когда используешь тело так усердно, что покидаешь его. Мэри подумала, что, если рассказать об этом ощущении Эйнсли, та тоже захочет начать бегать.

Вернувшись домой, Эйнсли сидела одна на диване и читала. Сестра Эйнсли была на шесть лет старше нее, поэтому жила отдельно. Мама смотрела телевизор, это было ее основным занятием. Папа Эйнсли был пожарным и появлялся дома не очень часто, поэтому сейчас они остались с мамой вдвоем. По телевизору показывали программу о девочках из евангельских семей, которых после изнасилования заставили сохранить беременность. На экране стайка девочек, по возрасту похожих на Эйнсли, бегали вокруг телевизора и кричали на своих матерей. Их животы медленно округлялись, становясь будто пластиковыми, и к концу серии девочки стали похожи на раздувшиеся трупы, которые вот-вот

взорвутся. Эйнсли представила, как сеньора Макдональд касается живота Мэри, и тот начинает расти, раздуваться за считаные секунды, и когда Мэри доходит до двери, она уже почти рожает. Передача закончилась поздним вечером. Дом был погружен во тьму, только экран телевизора горел синим. Мама Эйнсли спала, откинувшись на спинку дивана, из ее рта непрерывно вырывался горячий воздух. А белый той-пудель по кличке Руфус вылизывал ее руку. На мокрой коже образовалось розовое пятнышко. Эйнсли выключила телевизор, накрыла маму и Руфуса одеялом и отправилась спать.

Ночью Эйнсли приснился летний лагерь. Восьмилетняя Эйнсли была одета в форму. В лагере были одни девочки: они плели шнурки и изучали сов и совиные погадки. Эйнсли разбирала пинцетом совиный помет, вытаскивала змеиные кости, крысиную шерсть и нечто, похожее на ядовитый клык. Затем ей приснился поход с отрядом, их было около тридцати человек. Они шли в гору. Командовала отрядом студентка. У нее было загорелое лицо, кривые зубы и черные волосы под мышками. Поднимаясь в гору, они несколько раз пересекали извилистую автомобильную дорогу. Каждый раз, когда отряд выходил на асфальт,

всем нужно было посмотреть налево, а затем направо. Первые пару дорог они пересекли спокойно, машин не было. Но когда отряд дошел до перекрестка, командир заметила машину. Она остановилась, повернулась к стайке девочек с прилипшими к вспотевшим шеям красными банданами, подняла руки над головой и сказала: Будьте деревом! Ее руки походили на ветки. Ногами она вросла в землю и застыла. Наступила тишина. Девочки посмотрели на командира и, как хорошо обученные воины, тоже подняли руки над головой. Повисла тишина. Как вдруг из-за поворота на них вылетел красный грузовик, он промчался мимо отряда, сошедшего на обочину, и укатил по дороге вверх, возможно, к своему дому. Молодцы, девчонки! — сказала командир отряда, — Когда приближается машина, что сделать безопаснее всего? Она приложила руку к уху, намекая, что нужно поскорее ответить. Девочки ответили: Нужно сойти с дороги и стать деревом! Все крикнули хором, их девчачьи голоса эхом разнеслись по горам, снова зазвучали девчачья болтовня и смех. Их растительные формы снова сменились девчачьими. Восьмилетняя Эйнсли топала походными ботинками по грунтовой тропе и смотрела вниз на озеро. Она с нетерпением

ждала, когда достигнет вершины. Ей очень хотелось увидеть, каким маленьким станет озеро и можно ли подняться настолько высоко, что оно и вовсе исчезнет. Но озеро было очень большим, поэтому Эйнсли думала, что это вряд ли возможно. Однако возможно, и даже вероятно, что его вид с такой высоты сильно изменится.

На следующий день в школе Эйнсли рассказала Мэри о своем сне про летний лагерь.

— Ты правда ездила в летний лагерь? — спросила Мэри.

— Да, — ответила Эйнсли. — Этот сон был скорее воспоминанием, чем фантазией.

— Звучит весело, — сказала Мэри. — Жаль, мы тогда еще не дружили, я бы могла попросить маму отпустить меня с тобой.

— Было и правда весело, — сказала Эйнсли. — Кстати, у меня созрел план.

— Правда? — спросила Мэри. — Думаю, я тоже придумала неплохой план.

— Итак, — сказала Эйнсли. — Мне кажется, все крутится вокруг еды. Сейчас нас активно поедают, в то время как мы сами никого не поедаем.

— Именно! — сказала Мэри. — Все дело в поглощении. Нам нужно поглощать, чтобы не быть поглощенными. Знаю, на проблему можно по-

смотреть шире. Но, на мой взгляд, это может быть опасно, есть риск, что несправедливость происходящего станет для нас не такой очевидной. А если мы сосредоточимся на справедливости на локальном уровне, думаю, в итоге она станет глобальной. Это именно то, что нам нужно!

— Это как паутина, — сказала Эйнсли. — Все связаны между собой. Особенно в нашей ситуации. Боюсь, это касается всех, кто живет в радиусе тридцати пяти миль от школы.

— Хорошо, — сказала Мэри. — Думаю, ты права, но мы ведь не можем убить всех.

— Можем, если убьем их символ, — сказала Эйнсли.

— Как насчет моего младшего брата? — спросила Мэри. — Мы можем убить его.

— Он отвратителен, — сказала Эйнсли. — Но можно ли его считать символом?

— Ты видела его маленький член? — спросила Мэри.

— Нет, — сказала Эйнсли.

— Все, чего он хочет, — это поглощать, — сказала Мэри. — Он, конечно, пока не может кричать нам из машины или приставать, ему просто не хватает умений, но намерения у него уже есть. Если бы он знал, что такое секс, он бы требовал

его от нас. Как тот японский каннибал. Он знал, что хочет кого-то съесть, будучи совсем маленьким. То же самое видно по глазам моего брата. Он такой же. И он — это символ для всех них: для мужчин в машине, для сеньоры Макдональд и для мистера Флавина. Им будет жаль моего брата, потому что они увидят в нем частицу себя. Это самый действенный способ убить сразу всех.

— Думаю, ты права, — сказала Эйнсли.

— Мне кажется, лучше всего будет его сварить, — сказала Мэри. — Как лобстеров, что показывают по телевизору.

— Как думаешь, с него слезет кожа? — спросила Эйнсли.

— Вероятно, — сказала Мэри. — Может, когда с него слезет кожа и обнажит его мясо — мужское мясо, — мы отправим его фотографию мистеру Флавину с подписью: “Так кто кого съел? Берегитесь! Вы будете следующим”.

— Но поймет ли что-то мистер Флавин? — спросила Эйнсли.

— Это неважно, — сказала Мэри. — Заставлять его мозг работать — не наша задача. Он испугается, и это главное. Может, будет даже лучше, если он ничего не поймет.

— Ты права, — сказала Эйнсли. — В любом

фильме ужасов самая страшная часть — это когда ничего еще не понятно.

— Итак, — сказала Мэри, — думаю, нам придется совершить убийство. Но что еще мы можем сделать?

— Можем продолжить наблюдать, пока не разберемся, как все устроено, — сказала Эйнсли. — Можем попробовать быть активными и пассивными одновременно, как уроборос.

— Звучит весьма болезненно и скучно, — сказала Мэри. — Что, если нас съедят раньше? Ешь сама или будь съедена, Эйнсли!

— Потерпи, — сказала Эйнсли. — Мы их обязательно съедим. Нужно только придумать, как лучше это сделать.

В тот день на естествознании Мэри и Эйнсли задали выполнить совместный проект на свободную тему. Они сидели за лабораторным столом перед раковиной, горелкой Бунзена и толстым учебником.

— Я хочу исследовать партеногенетических змей, — сказала Мэри.

— Как уроборос? — спросила Эйнсли.

— Я не поняла, способен ли уроборос к непорочному зачатию, — сказала Мэри.

— Конечно, способен, — сказала Эйнсли. — Мы

ведь знаем, что он сочетается браком и оплодотворяет сам себя, что он мужчина и женщина, оплодотворяющий и оплодотворяющийся.

— По описанию похож на гермафродита, — сказала Мэри. — Будто для спаривания ему все еще нужна другая особь.

— Нет, не нужна, — сказала Эйнсли. — Одна особь занимается и зачатием, и рождением. Одна женщина делает все.

— Думаю, ты права, — сказала Мэри.

— Но какие виды змей партеногенетики? — спросила Эйнсли. — Я думала, что самки змей совершают подобные биологические подвиги только в неволе, в отчаянной попытке сохранить свой вид. Ведь для них клетка — это целый мир, где закончились самцы и больше не с кем спариваться.

— Мы же вместе смотрели ту программу, — сказала Мэри, — где показывали, что это ошибочная гипотеза и на самом деле многие рептилии уже давно размножаются бесполым путем в дикой природе. Из-за этого в некоторых видах могут остаться только самки. Зачем им самцы, если они могут сделать все сами?

— Видимо, я уснула, — разочарованно сказала Эйнсли.

— Вот болваны! — сказала Мэри. — Предположить, что процесс возможен только в неволе, проводя тесты только в неволе.

— А мы в неволе? — спросила Эйнсли.

— Вроде того, — улыбнувшись, сказала Мэри.

— А знаешь, кто, кроме змей, способен к партеногенезу? — лукаво спросила Эйнсли, приподняв бровь.

— Кто? — спросила Мэри.

— Растения, — сказала Эйнсли, затем перевернула страницу учебника и начала читать вслух.

Сгорбленный

К тому времени, как моя дочь достигла совершеннолетия, экономическое положение в стране стало настолько плачевным, что дешевле было нанять человека, который бы поддерживал ей грудь, чем купить лифчик. Мы разместили объявление на “Крейгслист”, и Марк показался нам лучшим из кандидатов. Мы поселили его на заднем дворе и обеспечили водой и укрытием. Каждый день Марк вставал ни свет ни заря и ждал у комнаты моей дочери, пока она проснется. Когда дочь выходила из дома, Марк горбился и засовывал руки ей под рубашку, чтобы аккуратно поддерживать ее небольшую грудь. Он везде ходил за ней, опустив голову, и оказывал лучшую поддержку, на которую только может надеяться любой родитель. Марк был джентльменом в возрасте, хотя в прежние времена мог бы еще считаться молодым специалистом. Думаю, он отправлял заработанные деньги родителям.

Единственным недостатком Марка на должности держателя груди была недолговечность. Он был вынужден постоянно горбиться, и это приве-

ло к серьезным проблемам со спиной, которые в конечном итоге стали мешать ему отрабатывать всю смену. На семейном совещании мы пришли к выводу, что срок службы держателя груди сопоставим со сроком службы ноутбука: спустя четыре года эффективность начинает снижаться, пока наконец не падает до нуля. Марк сломался: его искривленные артритом руки сжались в кулаки и были не в состоянии держать что бы то ни было, в особенности драгоценную грудь моей дочери. На его место пришел Эван, однако Марку тоже пришлось ненадолго остаться, чтобы обучить нового сотрудника. Каждый день еще до восхода солнца они добросовестно тренировались: горбились, хватали руками воздух и расхаживали по двору. Затем неподвижно стояли по пятнадцать минут, упражняясь в поддержке на месте, и наконец завершали тренировку короткой пробежкой, чтобы соответствовать моей спортивной дочери. Как только обучение Эвана завершилось, мы отвезли Марка туда, откуда его забрали, — на небольшой холм в нескольких милях от города. Новый держатель груди Эван сел сзади, обхватил руками переднее сиденье, на котором устроилась моя дочь, и сразу же приступил к своим обязанностям. Мы остановились у

холма и высадили Марка. Своими искривленными руками он был не в состоянии даже открыть дверь, а как только это сделали за него, вылез и тут же опустился на четвереньки. Мы уже были готовы ехать, как вдруг Эван слезно попросил разрешения ненадолго оставить свой пост. Когда разрешение ему было дано, он вытащил левую руку из-под рубашки моей дочери и помахал Марку на прощание.

Декор

Какое-то время моим основным источником дохода была работа мебелью. Я работала в компании, которая продавала диваны, стоящие в шесть раз больше, чем я получала за год. Шоурум располагался на двадцать четвертом этаже красивого современного здания в районе Флэтайрон на Манхэттене. Витрины у нас не было. О магазине узнавали по сарафанному радио: если кошелек позволяет, ты будешь в курсе. Среди клиентов были саудовские принцы, готовые потратить восемьдесят тысяч долларов на обеденный стол; креативные директора модных домов, желающие поставить у подиумов скамьи за пару миллионов долларов; хромые старушки с Верхнего Ист-Сайда, ремонтирующие свои дома в Хэмптоне с бюджетом в пять миллионов на одну только мебель и безделушки.

Из коридора в выставочный зал вела дверь до самого потолка из нержавеющей стали. Внутри зал делился на несколько секций: столовые, гостиные и спальни, расположенные на круглых коврах — жилые помещения, которые в реальной

жизни разделялись стенами, но здесь существовали без всяких границ. А напротив воображаемых комнат, прямо под большими окнами за огромным столом сидела я, красивая девушка в узкой юбке. В мои обязанности входило приносить клиентам миндаль и бокалы вина. А еще — читать почту, координировать доставку и разбираться со всякого рода документами. Но я понимала, что моя главная работа — присутствие. Начальство говорило, что я создаю атмосферу. Я привносила в этот шоурум то, чего не могли привнести мои коллеги — все как один геи старше пятидесяти.

Коллегам очень нравилось видеть меня в шоуруме. Они говорили, что я красивая. Что моя короткая стрижка — это авангард. Что я модно одеваюсь. Это правда, я люблю красивую одежду. В ярких принтах я чувствую себя комфортно. Мне нравятся носить то, что на первый взгляд пугает.

Поначалу меня смущало такое пристальное внимание. В один из первых месяцев на работе какой-то мужчина попросил разрешения сфотографировать меня на фоне мебели. Он сказал, что присутствие человека на фотографии поможет ему запомнить пропорции и размер. Я села на тахту с ногами, не снимая туфли на каблуках, закинула руки за голову и постаралась выглядеть

невозмутимо. Отлично, сказал мужчина. Он так ничего и не купил. Я сама оформляла все заказы и точно знала, кто что купил и сколько денег потратил.

По почте нас часто просили прислать образцы: архитекторы и дизайнеры интерьера хотели увидеть образцы дерева, ткани или кожи, использованные в том или ином изделии. По утрам я собирала письма с такими просьбами в одну стопку. После обеда я шла в подсобку — грязную кладовую без окон, находила нужные образцы и отправляла ответы. Иногда нас просили прислать каталоги и лукбуки или даже крупноформатные фотографии мебели на песчаном пляже у океана: ситуация столь же нелепая, как девушка в свадебном платье верхом на слоне, которых, однако же, часто можно встретить на страницах модных журналов.

Это письмо пришло, когда я работала в шоуруме уже полгода. Я не сразу решила, стоит ли показывать его начальнику: конверт был дешевый и ничем не примечательный, адрес шоурума и обратный адрес были написаны от руки. На конверте значилось: “Государственное исправительное учреждение, Фрэквилль, Пенсильвания”. Внутри лежала, судя по всему, неряшливая фо-

токопия письма, напечатанного на машинке: на бумаге остались полосы и темные пятна. К письму был прикреплен стикер с предупреждением о том, что получателю, то есть мне, следует иметь в виду, что вся тюремная корреспонденция просматривается. Содержание письма было странным и весьма пугающим. Несмотря на свою краткость, оно оказалось вполне четким и, что хуже всего, очень формальным. Письмо гласило:

Уважаемый господин/госпожа,

мы с вами не знакомы, а потому я понимаю, что будет трудно убедить вас выполнить мою просьбу. Меня зовут Малкольм Дэнверс, и в настоящий момент я нахожусь в заключении. Большую часть времени я провожу в одиночной камере. Находясь в этой черной коробке, я не испытываю особой радости. В связи с этим я начал воображать свой новый дом. Дом, который я смогу построить после своего освобождения, современный дом где-нибудь в лесу. Проведя столько времени здесь, в своей одиночной камере, я стал непригоден к жизни в обществе. Поэтому единственное, что еще поддерживает во мне жизнь, — это мечты о прекрасном существовании в одиночестве за пределами этой тюрьмы. Это мое единственное желание. Я хочу построить произведение архи-

тектурного искусства, в котором будет очень светло. Находясь в заключении, я прочел немало книг о составлении архитектурных планов, и за последние два года мне удалось создать свой проект. Сейчас я нахожусь на этапе, когда необходимо учесть особенности будущего интерьера. Меня уверили, что ваши изделия одни из лучших, одни из самых изысканных в этой отрасли и что любой дизайн вы изготавливаете на заказ. Этот аспект представляет для меня большой интерес, поскольку дает мне больший простор для творчества. Поэтому у меня к вам есть просьба. Если есть такая возможность, не могли бы вы прислать мне несколько каталогов с вашими самыми популярными изделиями, а также образцы материалов, чтобы я мог живо представить обстановку в своем будущем доме посреди леса? Для меня были бы ценны любые образцы кожи и ткани. К сожалению, в силу обстоятельств я не имею возможности принять образцы, превышающие по площади один квадратный дюйм, ввиду потенциальной возможности их использования в качестве оружия. Аналогичным образом дела обстоят с образцами металла и дерева — они также могут быть расценены как несущие опасность. Заранее благодарю вас за рассмотрение

моей просьбы. Я понимаю, что внутри компании и в жизни вы, без сомнения, чрезвычайно важный человек и много дел и без того требуют вашего пристального внимания. Буду благодарен, если сможете уделить мне время и прислать каталоги с образцами. Возможно, мысли о том, как некоторые из ваших прекрасных изделий будут смотреться в моем изящном воображаемом доме, залитом утренним светом, доставят вам немного удовольствия.

С глубоким уважением,
мистер Малкольм Дэнверс

Помню, как я в панике отложила письмо. Я боялась, что за мной кто-то наблюдает — на работе этот страх частенько меня преследовал. Любопытные коллеги постоянно спрашивали меня, что я делаю, чем занимаюсь, над каким заданием работаю. Я знала, что, если покажу письмо начальнику, он рассердится и заставит его выбросить. Может, я ошибалась, но письмо почти наверняка не вызвало бы у коллег интереса. Вероятно, они бы забеспокоились, как этот человек вообще о нас узнал. Я так и не решила, что делать, поэтому просто положила письмо в сумочку и вечером ушла с ним домой.

Я собиралась поискать в интернете, за что этот

мужчина угодил в тюрьму. Но потом подумала, что, возможно, мне не стоит об этом знать. Может, будь я человеком получше, я бы сразу начала искать. Но в тот период жизни я убедилась, что далеко не столь хороша, как многие мои друзья, особенно когда дело касалось смертной казни, которая, судя по всему, мистеру Малкольму Дэнверсу не грозила. А может, он чудом ее избежал. Так уж вышло, что я вращалась в кругах, где было много либерально настроенной молодежи, которая состояла в полиаморных и нетрадиционных отношениях, а также яро поддерживала тюремную реформу, несмотря на то что никогда в жизни не имела дела с заключенными. В наших кругах считалось неприемлемым поддерживать смертную казнь, хотя на последних званых вечерах, когда эта тема поднималась, лично я проникалась к этой идее симпатией. Эта мысль меня тревожила. Плохие люди совершают ужасные поступки. Какой смысл оставлять их в живых?

Я никогда не высказывала свое социально неприемлемое мнение вслух: что, возможно, некоторым людям суждено умереть. Я вообще редко говорила много, так что выпалить такое было не в моем характере. Но мне уже пришлось

убедиться, что истинное зло существует и больные им — больны неизлечимо, а потому таких людей следует убивать. Я вспоминала мужчину из своего родного города, который вломился в пятнадцать домов и изнасиловал четырнадцать женщин. Я думала о том, что этот человек должен быть мертв. Не было ни одной причины оставлять его в живых. Более того, поскольку он никого не убил, спустя семнадцать лет его выпустят из тюрьмы. Когда он совершал свои преступления, мне было шестнадцать, и я хотела его убить.

Теперь вы понимаете, что из-за своей веры в истинное зло я не стала искать информацию о преступлениях мистера Малкольма Дэнверса. Если бы я узнала, что он совершил что-то страшное, у меня не получилось бы думать о его новом воображаемом доме. Я хотела послать Дэнверсу образцы, чтобы ощутить превосходство: ведь я дала человеку то, чего он так желал. Но как только я бы узнала о его преступлениях, вероятно, я больше не смогла бы испытать радости от своих действий. Вероятно, мне захотелось бы его убить. Если бы я была другим человеком: лучше, умнее, добрее — я бы смогла принять его злодеяния. Однако я была не такой. Мне хотелось увидеть в Дэнверсе человека, а потому я не стала про него

читать, а на следующее утро пришла в шоурум и послала ему образцы материалов и каталоги.

Отправив посылку, я сразу почувствовала себя хорошо. Я сидела за своим огромным столом и грелась на солнышке, сияющем из великолепного окна на двадцать четвертом этаже. Я подписала ответное письмо своим настоящим именем. Я написала:

Вот, пожалуйста, мистер Малкольм Дэнверс, пусть ваш дом будет таким же прекрасным, каким вы его себе представляете.

Ваша Урсула Г.

Я очень хорошо помню тот день. В шоурум пришли три клиента, я была очень дружелюбна и сидела рядом, пока они пили вино и рассказывали, как им трудно дрессировать новую собаку. Особенно хорошо я помню, как пожилая миссис Шеффилд, одна из наших лучших клиенток с Верхнего Ист-Сайда, жаловалась на своего пуделя, который имел привычку писать везде, только не там, где надо. Я вспомнила, как месяц назад мы продали ей турецкий ковер за сто тысяч долларов, и понадеялась, что собака хорошенько справила нужду именно на него.

Возможно, получение этого письма стало пово-

ротным моментом моего пребывания в шоуруме. К тому времени я работала там уже полгода: новые впечатления сменились четким пониманием того, для чего им нужно мое присутствие. Первое время я была так рада этой работе. Раньше я работала в бутике в Челси, складывала футболки за триста долларов и отпаривала шелковые платья в душном подвале после закрытия магазина. Обычно моя смена начиналась в восемь вечера, а заканчивалась в два ночи. Во время работы я слушала музыку и страдала от клаустрофобии вместе с депрессией. Возможно, человек поумнее нашел бы способ использовать это время более эффективно и параллельно делать что-то полезное, но я лишь чувствовала, как задыхаюсь в этом темном подвале. Поэтому, когда друг моего друга помог мне получить работу в шоуруме, это стало грандиозным событием, равносильным приземлению у сказочного дворца на Луне. На самом деле в нашем выставочном зале и правда было что-то лунное и дворцовое. Это был целый мир, совершенно непохожий на тот, к которому я привыкла. Здесь богатейшие люди планеты вели себя так, будто их образ жизни не представлял собой ничего примечательного. Казалось, даже мебель, из которой состояли причудливые ком-

наты, свободно парит в пространстве, лишенном всякой гравитации, пространстве, отражающем собой жизнь в доме, где нет ни единой живой души. В каждом дюйме пространства сквозила роскошь, здесь все было лучшим — созданным лучшими дизайнерами и мастерами из Италии из лучших материалов; этот шоурум был венцом человеческого творения. В нем хранилось лучшее, что только можно купить за деньги, включая и меня. Было приятно находиться в окружении таких прекрасных вещей.

Итак, первое время я не возражала против того, чтобы меня считали частью интерьера: мне было приятно, что я кажусь подходящей компанией таким прекрасным вещам, ведь до шоурума я была лишь призраком, существующим в душном ночном подвале, который складывал вещи и мечтал придумать, как оттуда выбраться.

Ответ от мистера Малкольма Дэнверса я получила спустя месяц. Он пришел по почте, в конверте снова лежала фотокопия письма, отпечатанного на машинке, только на этот раз внутри еще лежали архитектурные планы, а адресовано письмо было мне — Урсуле Г. Это меня, конечно, очень встревожило: я боялась, что письмо мог увидеть кто-то из моих коллег. Там

было написано:

Дорогая Урсула,

мою благодарность невозможно выразить словами. Кожа, что вы прислали, идеально подойдет для низкого современного диванчика, который я хочу поставить в гостиной, а несколько образцов тканей я использовал для кресел по всему дому. В частности, из темно-серого льна будет выполнена обивка для кресла, дизайн которого я позаимствовал из статьи журнала "Архитектурал дайджест" об итальянских новаторах. Как можно увидеть из прилагаемых чертежей, ваш фирменный низкий диван идеально впишется в левый угол гостиной. Я вырезал его фотографию из каталога, что вы отправили, и прикрепил скотчем к стене у кровати вместе с образцами ткани и кожи, чтобы перед сном смотреть на них и воображать свой прекрасный дом с вашей прекрасной мебелью. Даже не представляю, как могу отблагодарить вас за великолепную мебель, что вы подарили моему воображению. Надеюсь, когда-нибудь я смогу закончить строительство дома и пригласить вас в гости, чтобы вы смогли своими глазами лицезреть замечательную работу, которую я проделал с вашей любезной помощью. Может, я смогу хотя бы вообразить

нашу встречу, даже если за пределами этой черной коробки она никогда не случится? Если вы не против, пришлите свое фото, тогда я мог бы представить вас в своем прекрасном доме: как вы сидите в изящном кресле, а я подаю вам чай и, может даже, свежее печенье.

Искренне ваш,
мистер Малкольм Дэнверс

Кажется, разглядывая присланные чертежи, я слегка тряслась. Пот лился рекой. Чертежи выглядели очень профессионально. Ни за что бы не догадалась, что их сделал дилетант, а уж тем более — заключенный. В гостиной и правда был изображен наш фирменный диванчик, а в комнате с надписью “кабинет” с особой тщательностью нарисовали темно-серое льняное кресло — оно было не больше головки ластика. Были там и другие зарисовки мебели: ее он, должно быть, увидел у других компаний, сотрудников которых убедил с ним переписываться. Мне стало немного легче от осознания, что я не единственная помогаю ему строить дом мечты. Однако вместе с тем я почувствовала укол ревности. Ведь я-то вообразила, что стала его единственным спасителем, благодаря которому его мечта продолжает жить. На самом деле меня с самого начала захватила мысль о том,

что человек, живущий во тьме, может построить для себя целый новый мир. Это романтично. И очень по-человечески. Дом, которого в настоящей жизни никогда не будет. Дом, в который можно отправиться, только закрыв глаза.

Хотя Дэнверс, похоже, был убежден, что ему удастся выбраться из тюрьмы и воплотить мечту в реальность. Тогда я задумалась о том, что, может быть, помогаю ему строить убежище — место, где он сможет скрываться после освобождения. Меня расстроила мысль о том, что этот человек, за свои преступления, возможно, заслуживающий смерти, хочет видеть меня в своем воображаемом доме.

День выдался напряженным, поэтому я положила письмо и чертежи в сумочку и принялась за документы. К вечеру я уже почти успокоилась. После работы я отправилась на давно запланированный ужин с тремя друзьями: мы часто встречались на вернисажах, но в тот вечер прием проходил в квартире у одной из них. По дороге я прихватила бутылку вина. Я не собиралась рассказывать о мистере Малкольме Дэнверсе, но после трех бокалов история сама вырвалась наружу. Мари, хозяйка квартиры, спросила, как прошел мой день, вот тогда-то я и рассказала о

письме. Остальные тоже захотели послушать. Сюзанна, лучшая подруга Мари, сказала, что ей Дэнверса очень жалко, ведь наша тюремная система ужасна, просто варварство. Мари спросила, знаю ли я, за что сидит мистер Дэнверс. Я призналась, что не хочу этого знать. Тебе стоит поискать информацию о Дэнверсе, сказала Мари, особенно теперь, ведь он попросил твое фото. Разве не лучше знать наверняка, прежде чем отвечать на письмо? Никто из них не знал о моем тайном убеждении, что некоторые люди заслуживают смерти. Они хотели разузнать подробности о Дэнверсе прямо там, но я упросила их этого не делать. Нет, пожалуйста, я не хочу знать, — попросила я.

В попытке их отвлечь я вытащила из сумки чертежи Дэнверса и показала наш фирменный низкий диван и льняное кресло. Они начали охать и ахать. Стивен, парень Мари, очень внимательно осмотрел чертежи. Я совсем забыла, что он архитектор. Стивен сказал: Это стеклянный дом, разграничения сбоку означают, что панели должны быть из стекла, а не из дерева. Все логично, ответила я. Дэнверс писал, что хочет, чтобы в дом проникало как можно больше света. Думаю, мне бы тоже этого хотелось, будь я заперта в камере. Всем присутствующим стремление

Малкольма Дэнверса к красоте, дому и свету показалось очень поэтичным, а Сюзанна и вовсе чуть не расплакалась.

Это меня слегка разозлило. Казалось, никому не было дела до того, что Дэнверс хотел получить мою фотографию, хотел, чтобы я составила ему компанию за чашкой чая в стеклянном доме посреди леса. Тогда мне пришло в голову, что в компании друзей я тоже лишь предмет мебели. Может, они общаются со мной только потому, что я выгляжу авангардно? Полагаю, именно в тот вечер я впервые задумалась, насколько одинока моя жизнь. И если я действительно живу одинокой жизнью, то как можно жить по-другому? Почему я чувствую себя так безжизненно? Почему я чувствую, будто меня засунули в тесную коробку? Я приложила немало усилий, чтобы выбраться из коробки. Я смело одевалась. Увлекалась искусством. Много читала. Так почему меня так привлекала идея, подобно мистеру Малкольму Дэнверсу, построить себе воображаемый дом?

Стивен вышел из-за стола и сходил в спальню за ноутбуком. Мне слишком интересна трагичность этой истории, — сказал он. — Разыщу нашего заключенного-архитектора. Нашего заключенного архитектора? — подумала я. — Да как ты смеешь!

Это я прислала ему образцы, я написала ему и теперь вынуждена пить чай в его воображаемом доме. Он мой.

Пожалуйста, не надо, — сказала я. — Ну правда. Мари бросила на меня игривый взгляд и сказала: Ну же, Урсула, дай нам повеселиться. Все сгрудились вокруг Стивена, а он начал искать. Я старалась держать себя в руках, а сосредоточенный вокруг ноутбука круг уже начал кружиться на месте и ловить себя за хвост. Черт, — сказал Стивен. — Дайте перезапущу.

Среди пьяного затишья я пыталась разобраться в себе. Руки я плотно прижала к коленям. На меня никто не смотрел, никому не было дела. Разговор продолжился без меня, я им была уже не нужна. Все, что у меня осталось на том жалком ужине, — это воображаемый Дэнверс и мысли о том, что же он для меня значил — в зависимости от того, что совершил. Стремление Дэнверса к прекрасному меня тронуло. В голове крутился образ пожилого мужчины, аккуратно щупающего образцы ткани. Я не могла от него избавиться. Я боялась саму себя, боялась, что могу испытать по отношению к человеку, который заслуженно оказался в черной коробке. Вероятно, он заслуживает смерти. Я постаралась мыслить позитивно. Может, его

обвинили несправедливо? Может, он убил очень плохого человека? В письме он выражался так красноречиво и щедро демонстрировал просторы своего воображения. Для каких преступлений пригождается воображение? Чтобы успокоиться, я составила в голове список худших деяний, которые мог совершить Дэнверс: изнасиловать ребенка, изнасиловать много детей или женщин, убить много людей, изнасиловать и убить девушку, похожую на меня. Стивен вернулся к столу и ввел в строку поиска: “Сведения о судимостях Малкольма Дэнверса”. Информация не заставила себя ждать: В результате облавы на крупнейшую в истории Пенсильвании сеть распространителей детской порнографии создатель и распространитель Малкольм Дэнверс был отправлен за решетку всего на пятнадцать лет, поскольку не удалось доказать его причастность к убийствам детей, хотя одиннадцать девочек (в возрасте от восьми до тринадцати лет), снятых в его видеороликах, пропали без вести.

Мистер Малкольм Дэнверс, подумала я. Мистер Малкольм Дэнверс, вы убийца и насильник.

О господи, сказал Стивен.

Довольны? — спросила я их. Может, хотите организовать пикет и потребовать его освобож-

дения?

Успокойся, сказала Мари.

Давай, напиши ему, не унималась я. Скажи, как тебе жаль, что он там совсем один. Можешь даже навестить его. Пенсильвания не так уж далеко, давайте же все поедем и выразим искреннее сожаление по поводу несправедливости его интернирования и бесчеловечности одиночного заключения. Давайте отправим его чертежи родителям, чьих дочерей он изнасиловал, семьям его жертв, чтобы они могли спать спокойно, зная, что у мистера Дэнверса есть роскошный дом.

Пьяная и разъяренная, обезумевшая от того, как новая информация, которую я так не хотела знать, бесповоротно нарушила мое спокойствие, я начала кричать на Стивена, чтобы он продолжал искать, копать и вынюхивать еще больше фактов о мистере Дэнверсе, которые заставят меня еще сильнее желать ему смерти. Стивен ничего не ответил, лишь нахмурил брови и посмотрел на меня. Тогда я забрала у него ноутбук. Почему бы не поискать иллюстрации? — сказала я ему.

На экране появились сотни фотографий. Но на них Дэнверс был не после ареста — дорогая одежда и сияющая улыбка указывали на то, что он был

агентом недвижимости, продающим дома стоимостью в несколько миллионов долларов. Одна из фотографий была окружена текстом — она была опубликована в журнале. Под фото Дэнверса в гостиной была подпись: “Агент недвижимости из Филадельфии мистер Малкольм Дэнверс в своем доме”. Боже мой, — подумала я. Мистер Дэнверс, хоть вы и использовали детей как мебель, но декор в вашем доме очень красивый. На фотографии можно было разглядеть множество деталей: стул от “Имс”, большой изящный ковер-килим и дорогой пол из красного дерева. На журнальном столике из стекла лежала книга по дизайну, мне даже удалось разглядеть название: “Дом во французском стиле”. Я вспомнила мужчину, что фотографировал меня в шоуруме, ему было важно присутствие человека в кадре. Но присутствовал ли человек на изображении с мистером Малкольмом Дэнверсом? Где же в нем человечность?

Я посмотрела на Стивена, Мари и Сюзанну. Как вам его вкус?! — заорала я. — Как думаете, он выбрал хороший цвет кожи для своего стула от «Имс»?

Стивен извинился за то, что нашел информацию о Дэнверсе, он не знал, что меня это так

расстроит. Это паршивое, хромое извинение вдруг переложило всю вину на меня: что это я кричу и порчу всем вечер, что, не будь меня, они заполучили бы Дэнверса целиком и смогли бы вдоволь им налюбоваться.

Тогда я почувствовала, что представляю для них угрозу: для их изящных столовых приборов, для их прекрасной посуды ручной работы, для абстрактных геометрических тканей на крючках над раковиной.

Я продолжала на них кричать, спрашивать, где они достали свои шикарные наряды, и оглушительно расхваливать каждый сантиметр квартиры. Я зашла в ванну и выкрикнула: Эта плитка великолепно белая! Прекрасна в своем минимализме! Ей так легко остаться незамеченной!

Краем уха я слышала, как Мари и Сюзанна перешептываются в гостиной, думая, что со мной делать. Стивен вошел в ванную, где я вытирала руки сразу всеми полотенцами, еще несколько раз фальшиво извинился и предложил вызвать мне такси домой.

Нет, сказала я. Я уйду отсюда пешком. И ушла. Я прошла много миль пешком по залитому светом фонарей городу, пока не добралась до комнатуш-

ки, где я сплю.

На следующий день я проснулась рано — в четыре утра, ощущая себя больной и опустошенной. Я вылезла из окна спальни на пожарную лестницу и стала наблюдать, как по соседним домам из бурого песчаника ползет солнце. Я задумалась, что бы ответить Дэнверсу. Я могла бы просто отправить распечатку его судимости. Просто сообщить: я знаю, что ты сделал. Но что это даст? Вероятно, вызовет у него стыд или даже разочарование от того, что его разоблачили? Может, тюремная переписка из этого и состоит: доброта, а потом стыд? Стыд — неплохое оружие, но оно слишком сильно опирается на ненависть человека к самому себе, а Дэнверс вполне мог себя не ненавидеть. Мне хотелось заставить Дэнверса почувствовать худшее, что только возможно. Не сомневайтесь, я бы убила его, будь у меня шанс. Зло в таких людях неизлечимо. Не могу даже представить, что, посмотрев на фото улыбающегося Дэнверса в своем роскошном доме, зная, что он сделал, видя его глаза, кто-то мог подумать, что он достоин жить дальше.

Я знала, что, услышь мои рассуждения друзья с вернисажей, они бы начали бормотать что-то о жестоком, необычном наказании и прощении

даже самых страшных преступников. Эти их высказывания могут сколько угодно быть правдивыми и разумными, но они означают лишь одно: мои друзья никогда не сталкивались с настоящим злом.

Вдруг меня осенило. Я поняла, что нужно было сделать. Я должна была послать Дэнверсу то, что заставит его почувствовать себя менее живым.

В том году я как раз ходила в Метрополитен-музей на выставку мебели Людовика XIV, толстяка, одержимого своими изящными ногами, возомнившего себя "королем-солнцем" и обожавшего мебель, в которой читалась звериная сущность. Его стулья стояли на оленьих ножках, диваны были обиты львиными шкурами, а лошадиные копыта служили опорой для цветочных горшков и золотых урн. Больше всего меня встревожил один экспонат — любимое кресло Луи, стоящее на львиных лапах. Это был, пожалуй, лучший, а может, и единственный способ унизить мистера Малкольма Дэнверса.

В голове возник образ, и я сразу успокоилась. Я могла бы изобразить Дэнверса предметом мебели в стиле Людовика XIV, волосатые руки стали бы передними ножками дивана, а его ступни — спинкой. А обивкой послужила бы кожа Дэнверса

и его любимый темный лен.

Я взяла блокнот и сделала очень детализированный набросок. Голова Дэнверса расположилась посередине спинки дивана в стиле барокко, как раз там, где Людовик XIV всегда помещал солнце. Спинку я украсила фестонами. Искусно вырезанные подлокотники изгибались в соответствии с изгибом сиденья.

В шесть утра я собралась и пришла в шоурум за несколько часов до появления остальных. Я сделала несколько цветных фотокопий своего рисунка и даже сделала уменьшенную версию дивана-Дэнверса, чтобы он мог поместиться на своем собственном чертеже. Я поставила его прямо перед камином, чтобы его кожа могла обгореть. Затем приблизила на своем рисунке место с бежевой кожей и снова сделала несколько копий. Потом распечатала и склеила, чтобы получился образец кожи Дэнверса размером два на два фута. Свой рисунок дивана-Дэнверса и его чертеж с добавленной мной изюминкой я вложила в конверт восемь на одиннадцать дюймов. Его я обтянула кожей-бумагой Дэнверса и подписала. Затем спустилась к почтовому ящику на пересечении Шестой и Четырнадцатой улиц.

Опустив кожаный конверт через прорезь в

синем металле, я представила, как Дэнверс медленно открывает письмо, печать на котором уже сломана надзирателями: они наверняка ненавидели Дэнверса так же, как и я, и с удовольствием пропустили мое гневное послание. Я представила, как Дэнверс изучает чертежи, как непонимание постепенно перерастает в страх — он осознает, что, если бы представилась возможность, я бы отрезала ему щиколотки, чтобы соорудить из них подставки для кухонных табуреток; я бы сделала из костяшек его пальцев перекладины для барных стульев и опиралась бы на них ногами. Он понимает, что в моем воображаемом доме его бы убили, убили бы именно тем способом, что лучше всего определяет его личность.

Я представила его в тюрьме, искалеченного и безжизненного, — наконец он осознал, что больше не человек, а всего лишь вещь в воображаемом доме, который никогда не построят и не посетят, — доме, который разрушится вместе с моей смертью, когда разум расплавится и сгниет под влиянием кислорода.

Эта воображаемая картинка словно на мгновение повисла в воздухе на пересечении Шестой и Четырнадцатой улиц, и мне было приятно на

нее смотреть, осознавать ее и признавать своим творением. Отходя от почтового ящика, я чувствовала, как картинка меня преследует. Парит над головой. Я вернулась в шоурум и начала работать, а она все еще висела надо мной, сжимала мою макушку, как оправа — драгоценный камень, поэтому днем, когда начальник проводил совещание, мне было очень сложно его понять, хотя я прекрасно слышала все слова.

Начальник сказал, что имидж компании будет полностью пересмотрен. Раньше мы продавали дорогие изделия, красивые столы и стулья из красного дерева, уличные шезлонги из бука, но пришло время все менять. В мире дизайна древесина с крупными сосудами считается живой эстетикой, поскольку в изделиях из нее чувствуется присутствие жизни. Живая эстетика присуща деревенским интерьерам, в особенности тем, что создавались скандинавами, первопроходцами в области переработанной древесины. Начальник сказал, что этот тренд вырвался за рамки высокого дизайна и стал мейнстримом. Теперь обои с деревянной текстурой можно купить в “Таргет”, а недорогой стол из хорошей древесины — в “Крэйт&Баррел”. На совещании нам сообщили, что мы больше не заинтересованы в поклонении

рынку. Что отныне в шоуруме не будет древесины с крупными сосудами и необработанной кожи. Теперь мы будем работать исключительно в неживой эстетике. Уже готовятся новые каталоги. У нас будет больше хрома, больше белой кожи и еще больше огромных стеклянных ящиков, которые должны будут изображать стулья.

Деревянные изделия покрыли лаком. Я сама координировала их перевозку в мастерские и обратно — они возвращались белыми и серыми. В их новой поверхности я видела свое отражение. Хром и лак легко поцарапать, сказал начальник, так что будьте осторожны со своими кольцами. Я гадала, не следует ли мне теперь одеваться по-другому, следуя за обновлением эстетики шоурума. Можно ли заставить себя выглядеть менее живой? Не кажется ли моя стрижка “шэгги” простоватой, слишком выдающей во мне живое существо? Как сделать себя более строгой? Я представила, как растворяются мои внутренности, как из влажных землистых тканей они превращаются в полутвердый серебристый хром. Представила, как маленькие человечки скатывают из хромированной материи шарик. Как они полируют этот шарик и превращают его в идеально сияющую сферу. Она парит в центре

моей грудной клетки, а человечки видят в ней свои отражения. Получается эффект рыбьего глаза: лицо становится огромным. Эти шторы отвратительны, — я слышу, как один из них проводит пальцем по моим ребрам. — Почему они так плохо сочетаются с люстрой?

Я чувствовала, как все мои внутренности дышат. Чувствовала, как с каждым глотком свежего воздуха хромированная сфера внутри меня подрагивает.

Неравнодушные люди

Карл был змеем, который сворачивался в форму груши и кусал детей, что пытались его съесть. Он жил на дереве посреди тротуара в бетонном квартале большого города. Он свисал с низких качающихся ветвей и изображал плод. Он даже высовывал язык, чтобы проходящие мимо дети принимали его за молодой листок. Он слился с деревом: позеленел и покрылся крапинками. К груше подошел мальчик, он протянул руку, чтобы сорвать плод, но Карл обнажил клыки, и вместо сока с них сорвались дерзкие слова: “Я тебя люблю”. Так яд проник в тело мальчика. Карл жадно облизал кровь и снова притворился грушей. Голуби начали клевать кости мертвого мальчика, затем с неба хлынула вода и смыла останки. Полиция наконец нашла тело, но никто не обратил внимания на змея. Кто станет подозревать грушу? К тому же дело было в городе, а горожане, хоть и бывают весьма подозрительны, редко подозревают еду, особенно фрукты. Время шло, и Карл ждал. Он купался в ночном воздухе, моргал своими безресничными глазами

и шептал нежные глупости паукам, что плели паутину на его дереве. Пауки, белки, крысы, жуки и бродячие кошки, проживающие в том квартале, общались с Карлом настороженно. Он рассказывал им такое, чего никто из них не хотел вспоминать. Он говорил: “Та маленькая девочка выглядела очень мило в шортиках”, а затем: “Я всегда знал, что по-особенному привлекателен”. Пауки, как и многие другие обитатели городского животного мира, объясняли странное поведение Карла его иностранным происхождением или, быть может, какой-то детской травмой, неизвестной еще даже самому Карлу. Их возмущало то, что Карл убил мальчика и теперь по кварталу постоянно сновала полиция, но экзотическое соседство им нравилось, и несмотря на публичное осуждение, втайне они были благодарны Карлу за то, что своими фруктовыми выходками тот вносит хоть немного разнообразия в мир, полный вредителей. Груша в городе — сама по себе редкость, про нее знали все: пауки, белки, крысы, жуки и бродячие кошки; однако груша со змеем, который маскируется под фрукт, — еще более редкое явление. На самом деле Карл всегда жил на этом дереве и переехал вместе с ним. Группка неравнодушных людей привезла дерево из-за

города и посадила у бетонного тротуара, чтобы добавить своему серому кварталу, в котором никогда не хотелось оставаться, зелени и жизни. Теперь, с появлением груши, люди стали сидеть на крыльце, разговаривать друг с другом и вдыхать воздух с таким энтузиазмом, будто раньше никогда с ним не сталкивались. Это значительно облегчало работу Карла. Люди жались к стволу его дерева, жадно глотая смог, и количество детей, которых Карл теперь мог съесть, просто не уместилось бы у него в животе. А когда на улице потеплело и дерево зацвело, стало и того проще. Огорчало лишь то, что ему теперь даже не нужно было притворяться фруктом. Это осознание сокрушило Карла. Ему нравилось притворяться грушей. Ему так нравилось быть грушей, что в итоге он и правда стал считать себя грушей. Кто бы сказал ему, что это не так? Карл понял, что хочет быть грушей, точно так же, как многие люди хотят не просто делать свою работу, но быть ею. Карл был грушей и всегда ею останется, как бывшие юристы навсегда остаются юристами. Карл размышлял об этой реальности, наблюдая за прохожими. Он видел строителей, учителей, водителей и поваров, и ему было очевидно, что некоторые из них были людьми с работой, а

некоторые — людьми, ставшими своей работой. Был ли Карл змеем-грушей? А может, он был грушей, которая выглядит как змей? Если его разрезать, что окажется внутри? Змеиная плоть? Кровоточащие зеленые внутренности? Нет. Карл точно знал, кто он. Он был уверен, что внутри него лишь белая сахарная плоть. Плоть, которую можно приготовить, сделать из него желе, нарисовать или просто нарезать. Плоть, которая во ртах у детей становится мягкой и сочной. Так Карл начал фантазировать о том, как его едят. Сначала это были лишь фантазии, но затем он задумал позволить первому же ребенку его съесть. “Я больше не змей, похожий на грушу, — подумал он. — Я просто ядовитая груша”. Белки и пауки, живущие в квартале, считали Карла помешанным, считали, что весна свела его с ума. Но Карл все же довел дело до конца. Как-то утром к дереву подошел мальчик лет восьми и сорвал Карла. Тот не шелохнулся, оставшись в своей привычной грушевидной форме, и неподвижно наблюдал, как мальчик укусил его, проглотил яд и умер прямо на улице, все еще держа “грушу” в руках. Карл лежал на тротуаре, разгрызенный надвое, и был счастлив, что его увидели и поняли именно таким, каким он был: ядовитой грушей. Но разве

Карл не был также и всего лишь змеем? Всего лишь змеем, который пытается проявить свою смекалку и отыскать достойный способ поесть, а по вечерам оставить немного времени для болтовни с соседями. Так, Карл был и не был тем, кем хотел. Пока змеиная кровь вытекала из его змеиного тела, вокруг столпились пауки, белки, жуки, крысы и бродячие кошки. Они смотрели на Карла и оплакивали его, и в нем они видели сладкий мясистый плод, фрукт, содержащий семена, простую пищу, которую можно съесть.

Жареное тесто

В круглосуточных кондитерских разворачиваются любовные истории особого толка. Участвуют в них подростки из пригородов мегаполисов. Разворачивается все медленно, а затем ускоряется. Сначала они просто люди, они знают друг друга почти всю жизнь, а затем вдруг — влюбляются. В круглосуточной кондитерской все кажется желтым. Флуоресцентные лампы делают щеки девушки блестящими и бледными. Но для этой любовной истории это не так важно. Подростки уродливы. У девушки слишком короткая стрижка, у парня слишком длинные волосы, а их лица испещрены красными точками. Кондитерская тоже уродлива. Она давно обветшала, а в три часа ночи туда захаживают клиенты борделей, чтобы купить малиновые пирожные. Однако это место отлично подходит для любовной истории двух подростков. В кондитерской можно обдирать краску со стульев, ведь она и так уже давно облупилась. Под стульями лежит линолеум, а под линолеумом — подвал, которого подростки никогда не видели. С потолка отслаивается

краска. К языкам подростков прилип запах жженого сахара. Со старых пирожных, хранящихся за стеклянной витриной у прилавка, осыпаются большие куски глазури. Стена за витриной когда-то была белой, но теперь стала почти коричневой. На кассе работает иммигрант. Подросток покупает пончик с шоколадной глазурью. Ему шестнадцать, а в круглосуточных кондитерских всех шестнадцатилетних считают преступниками. Если они пока не успели ничего украсть, то еще обязательно украдут. Этот подросток берет три пончика, пока кассир не видит, и кладет в карман, а затем приносит другому подростку — девушке. Девушка подпрыгивает на месте. Она видела совершившееся ради нее преступление и покорена подарком. Эти подростки не глупы и не умны. Они — лишь наполовину сформировавшиеся люди, которые пытаются говорить с другими людьми, ищут способ почувствовать, будто в мире существует нечто большее. И в кондитерской оно правда существует. В кондитерской есть люди, которые в одиночестве сидят там до поздней ночи, ритм их жизни совсем не похож на подростковый. Есть там и городские сумасшедшие. Женщина с черными спутанными волосами в платье с огуречным принтом сидит в углу и

что-то бормочет о привидениях, обитающих на кухнях. Подростки разговаривают с женщиной в огуречном платье, составляют из ее бормотаний предложения и записывают на бумажке, которую затем прикрепляют на липкую ленту в туалете кондитерской — прямо над раковиной, чтобы каждый, кто придет ополоснуть руки, мог прочитать: “Я жду тебя в сахарнице и еще кое-где в кладовой”. Женщина в огуречном платье читает объявление в туалете и идет мимо облупившейся краски прямо к двери. Она машет подросткам и выходит на улицу, бормоча себе под нос, а затем скрывается из виду. Еще в кондитерской есть граффити: в туалете, там, где висит записка, под столом и даже на тарелках, на которых иногда подают пончики. Эти граффити ругают людей и другие пригороды. Подростки сидят на них сверху и чувствуют себя в непосредственной близости от этой злости, и им это нравится. Но сами они ничего не пишут, потому что сейчас они не злятся, а лишь слегка нервничают. Не потому, что не знают друг друга, а потому что все их представления о мире внезапно поменялись. Они менялись уже давно, и подростки успели к этому привыкнуть, научились сохранять душевное равновесие и даже иногда предсказывать новые изменения.

Парень узнал, что отец лжет ему. Сестра девушки ходит в такие места и делает такие вещи, которые незнакомы девушке, и эта разница в опыте разрушила их связь. Теперь сестра девушки и сама девушка находятся уже не в одной плоскости, а скорее на двух дрейфующих посреди океана островках. Два человека, что раньше были так близки, теперь разошлись, и тот этап остался где-то позади — лишь засечкой на огромной ленте времени. Здесь, в круглосуточной кондитерской, тоже все меняется. Подростки чего-то ищут, но сами не знают — чего именно. Они вместе погружаются в свои фантазии, придумывая далекий от реальности мир, в который они искренне верят и сами делают его реальным. Больше всего на свете подросткам хочется найти того, кто решится исследовать мир вместе с ними, чувствовать холод зимнего озера, боль от пореза и остроту ощущений от проникновения в заброшенный дом. А в этот конкретный миг — наслаждаться кусочком жареного теста — не вполне хорошего, но и не слишком плохого: той еды, которая отлично подходит для такого места — для кондитерской. Пончики — еда вкусная, но не слишком, а подросткам сейчас не нужна вкусная еда, ведь они влюблены, а когда ты влюблен, становится

неважно, что класть в рот. Подростки часто бывают в круглосуточной кондитерской. Они мчат по широким дорогам на универсалах и въезжают в ту часть города, где стоит кондитерская. Они наведываются туда поздно, когда родители уже спят, а на улицах остаются лишь те, кого порицает общество. Подростки проскальзывают внутрь и садятся у окна, где отсветы от фар проезжающих машин и неоновых вывесок отражаются у них на лицах. Девушка подтягивает колени к груди и обхватывает себя за ноги. Парень поворачивает голову, чтобы посмотреть на улицу, длинные волосы падают ему на лицо. Вот так подростки сидят и разговаривают друг с другом о том, что все их личности состоят только из вещей и слов. Затем каждый из них с этим спорит, доказывая, что они есть нечто большее, чем сумма вещей и действий, и это становится новым символом, который заставляет подростков чувствовать себя более полноценными, будто к их телам добавились новые части, щели и дыры заполнились тонкими материями, и вот они уже больше не такие прозрачные, как были раньше. И хотя оба подростка ощущают нечто подобное, они все же никак не могут принять головокружительную реальность своих ощущений. Они поддерживают

друг друга. И этого достаточно, чтобы влюбиться, — они оба с этим согласны. И они влюбляются все сильнее. Этому способствует обстановка. Круглосуточная кондитерская позволяет им не просто ощутить себя людьми, но и почувствовать, что в этом мире есть для них место, место, общее для них обоих. Подростки пишут и рисуют. Они зарисовывают лица посетителей на салфетках и отдают кассиру. Так подростки покоряют сердца не только друг друга, но и людей вокруг. Для них обоих это кажется непривычным. Эти подростки добры и вполне приятны в общении, но покорение сердец — не их конек. Однако в этой кондитерской они по какой-то причине всем нравятся. Ведь они так юны. Подростки подозревают, что старые пьяницы видят в них детей, которыми они в общем-то и являются, — с этим согласны даже сами подростки. И пьяницы, и наркоторговцы, и клиенты, и их женщины — все находят их очаровательными. Уродливые дети влюбились, шепчет женщина с фиолетовыми волосами пьянице в синей куртке. Подросткам кажется, что посетители кондитерской видят в них что-то от самих себя. Что клиент борделя с нависшими веками и в смешном костюме или пьяница с седыми жесткими кудрями и выбитыми зубами

видят в них молодую копию себя. И подросткам нравится это ощущение. Им нравится ощущать себя чем-то большим, ощущать, что кто-то видит в них себя. А еще им нравится осознавать, что они могут стать кем угодно: наркоторговцами, клиентами борделей, пьяницами или сумасшедшими — и пусть все эти варианты плохи, у них все же есть выбор, их будущее будет отличаться от их настоящего, каким бы непредсказуемым оно ни было. В круглосуточной кондитерской время — это то, что уже прошло, но что еще важнее, время — это то, что еще не наступило. Подростки знают, что впереди их ждет куда больше времени, чем позади. Они переглядываются и сплетают ноги под столом. Девушка скрещивает руки на груди, опускает голову и засыпает. Парень смотрит на нее очень долго, будто боясь поверить своей удаче: он нашел человека, который готов с ним разговаривать, рисовать и делать разное, в том числе — совсем ничего. Он смотрит в окно на качающиеся в ночи деревья. Большие секвойи вперемежку с чахлыми пальмами трясут сухими ветвями над проезжающими машинами. Над крышами одноэтажных строений через дорогу нависает липкая ночная дымка. Парню кажется, что с одного из деревьев доносится птичий крик.

Он вытягивает шею, пытаясь отыскать птицу, но никого не видит. Поиски его утомили, парня начало клонить в сон. Он прижимается головой к девушке. В полусне подростки поудобнее устраиваются на диванчике и обнимаются. Так, сплетенные вместе, они мерно дышат и позволяют своим мыслям блуждать туда-сюда, пока окончательно не засыпают. В свете неоновых вывесок они похожи на новорожденных щенков, ослепленных своим рождением и бесконечно радостных от того, что рядом есть кто-то с такими же незрячими глазами. Подростки просыпаются с первыми лучами солнца, которые, проходя через стекло, окрашивают столик круглосуточной кондитерской скорее в синий, чем в желтый. Тогда они возвращаются домой, по своим постелям, а как только опускается ночь, возвращаются в кондитерскую. Так продолжается их любовная история. Они ходят и в другие места, но в круглосуточной кондитерской бывают регулярно. У подростков происходят неприятности, но только не когда они в этой кондитерской и не когда они вместе. Подростки становятся друг другу гораздо ближе, чем другие люди могут себе представить: подростки и сами этого не осознают. Они представляют себе долгую совместную жизнь.

Вслух они об этом не говорят, скорее одинаково ощущают себя в этом мире, исходя из своих представлений и размышлений о том, как он устроен. Рассуждая о мире, они понимают, что живут в нем вместе, а потому все их представления обретают смысл лишь оттого, что они сидят и думают об этом именно вместе. И только вместе они смогут познать этот мир, а может, даже найти в нем местечко для себя, вдали от ненавистного пригорода и от родителей; местечко, о котором они сами толком ничего не знают, но в котором обретут нечто большее, чем у них есть сейчас. Так, они слегка предают круглосуточную кондитерскую. Подростки видят в ней то место, которое им суждено покинуть, пройти сквозь расшатанную, скрипучую дверь с колокольчиком, минуя клиентов, пьяниц, людей с безумными лицами, и добраться до места, где, быть может, есть и другие круглосуточные кондитерские, однако подростки знают, что это будет уже совсем не их кондитерская. Но несмотря на мысли о побеге, подростки все же наслаждаются моментом. Они понимают, что с тех пор, как они влюбились, и до тех пор, пока не станут старше, это место, где они обрели покой и утешение, — не просто магазин, где жареное тесто посыпают сахаром и продают

людям. Своими мыслями подростки превратили его в нечто большее. В любовной истории эта кондитерская становится их олицетворением. Они проводят внутри так много времени, что в каждом из них теперь живет копия кондитерской, куда подростки будут ходить во снах до конца своей подростковой жизни. И всякий раз, как их настигает новое чувство — новая любовь — и говорит им: “Я здесь. Позволь мне расти внутри тебя”, подростки отвечают во сне: “Конечно. Мы ведь в круглосуточной кондитерской, здесь мысли только и могут, что расти и множиться”. Растут и множатся там не только мысли, но и идеи, и чувства, и сама человечность, которую до этого подросткам не удавалось отыскать нигде. В своей любовной истории подростки повстречают немало людей и вещей, что откроют им несовершенство самой природы, вмещающей их всех и даже больше. Но именно в этой круглосуточной кондитерской происходит их первое знакомство, они впервые ощущают, что принадлежат к чему-то большему. Подростки приходят и уходят, подолгу сидят за столиками, едят завитки с корицей, эклеры с шоколадом, глазированные булочки и кусочки жареного теста с тем, что называют лимонной начинкой, хотя, по сообра-

жениям подростков, она вряд ли создана именно из этого фрукта. Подростки постепенно привыкают к самим себе, друг к другу и к разным людям, с которыми они сталкиваются каждый день. Они приносят в круглосуточную кондитерскую разную литературу и иногда читают вслух. Как-то раз девушка забралась на стул и продекламировала отрывок из книги, которая была для нее прекраснее всего того, что ей до этого называли прекрасным. Кассир-иммигрант зааплодировал, а клиент борделя в смешном костюме поклонился, что показалось девушке очень странным, ведь это она прочитала отрывок, а не клиент. Но в этой любовной истории подросткам не было до этого дела, потому что после прочтения их охватило чувство всеобъемлющей радости, будто кто-то только что пронзил их сердца молнией, и сам Бог позволил им всем, включая клиента, стоять здесь живыми, пронзенными потоком слов, которые для каждого из них что-то значили, а потому, быть может, у клиента было даже больше прав на поклон или, по крайней мере, столько же, сколько у чтеца, которым в этом случае стала девушка. Но вспоминая эту сцену после, она представляла, будто вся кондитерская читала отрывок в едином порыве, будто это было их коллективное творче-

ство, и девушке такой вариант нравился намного больше, чем чтение в одиночку, а потому она решила запомнить этот момент иначе. Она запомнила, как вся кондитерская читала отрывок в унисон: у каждого было по экземпляру книги, открытой на одной и той же странице, — они выкрикивали слова идеальным хором, а в конце клиент взобрался на стул и поклонился, поклонился не только за себя, но и за каждого человека, что когда-то попадал в такое место, где не было прекрасного, а затем, каким-то чудом, оно вдруг находилось. Таким образом, эта круглосуточная кондитерская, эта любовная история стала вместилищем множества событий, о которых потом все позабыли. Но в большинстве своем события, что были запомнены неправильно, все же были реальными — более реальными, чем многое из того, что подростки еще встретят на своем пути от начала существования до его конца.

На юге наш главный враг – песчаная буря

Глеб и Олег были сосланными братьями. Они жили в тюремном лазарете в окружении снега. Глеб был хирургом, а Олег — скульптором. Когда их сослали, Глеб убедил офицера, что, чтобы оставаться полезными, братьям нужно держаться вместе.

— У меня плохое зрение, — сказал Глеб. — И чувство меры. Чтобы шить хорошо, мне нужны глаза брата.

— Это правда, — сказал Олег. — Анатомия никогда не была его сильной стороной.

Прищурившись, офицер посмотрел на братьев. Олег был несравненно красивее Глеба, но гораздо худее. Как с таким красивым лицом можно работать? От людей с олеговскими лицами все равно мало толку.

— Хорошо, — сказал офицер. — Если вам нужны глаза брата, так и быть. Люди здесь часто теряют конечности. Полагаю, оправданий неудачным приживлениям у вас не будет, раз уж вы будете работать вдвоем.

— Спасибо, — сказал Глеб. — Мы справимся.

Днем Глеб с Олегом сидели за столом, а ночью спали на больничных койках. Они были весьма удобными, матрасы — набиты соломой. Синие в полоску простыни были добротными, шерстяными. Через десять дней после приезда Олег нашел под одеялом шапочку медсестры и стал ее носить.

— Любишь ты выглядеть женственно, — проворчал Глеб.

— Ты просто завидуешь, что мама разрешала мне носить свое воскресное платье. — Олег похлопал глазами и засмеялся.

В дверь лазарета вошел мужчина без пальца.

— Боже мой! — воскликнул Олег. — Где твой большой палец?

— Понятия не имею, — сказал мужчина. — Сокамерник случайно отрубил его лопатой. Я не сразу понял, что палец потерялся. Руки превратились в ледышки, пока я укладывал кирпич у западного крыла. Мы его всей группой искали, но так и не нашли. Белый снег, белый палец. Считай, иголка в стоге сена.

— Скорее сдобное печенье в куче сахарной пудры! — воскликнул Олег. — На юге наш главный враг — песчаная буря. А здесь, на севере, наш

главный враг — это снег.

Олег попытался выразить подобающее ситуации сочувствие к человеку, который потерял палец, а затем сел на край койки и вздохнул. Он все еще был в шапочке.

Меланхолия Олега, по-видимому, застала мужчину врасплох.

— Что ж, давайте попробуем найти что-то подходящее среди недавних трупов, — сказал Глеб.

Два брата и девятипалый мужчина вышли на холод к могильной яме в поисках пальца. Земля промерзла насквозь, так что трупы просто лежали сверху. Глеб ползал по ним и время от времени оглядывал руки. Он раздвигал пальцы мертвецов и старался рассмотреть мышцы.

— Подними руку! — крикнул Глеб девятипалому, стоявшему на краю ямы. Тот поднял над головой свою четырехпалую руку. — Самый что ни на есть средний размер, — сказал Глеб и продолжил искать, пока не нашел подходящую замену. Затем достал перочинный ножик, вытащил зазубренное лезвие и распилил кость.

— Не смотри! — Олег подскочил к девятипалому и прикрыл ему глаза. — Это как увидеть платье невесты до свадьбы! Плохая примета! Дай пальцу немного уединения, совсем скоро вы

будете вместе!

Девятипалый послушно закрыл глаза, и его сопроводили к супружескому ложу — койке в лазарете. Олег его укрыл, прочел по ладони его судьбу, рассказал сказку и усыпил: обмакнул тряпку в горшок с эфиром и приложил к носу девятипалого. Дыхание мужчины стало глубоким и ровным.

Вскоре вернулся Глеб. Он вынул из кармана большой палец и приложил к обрубку спящего, чтобы убедиться в правильности размера.

— Черт, — сказал Глеб, — отрезал левый вместо правого.

Олег закатил глаза и погладил пациента по голове. Глеб снова вышел на холод и тут же вернулся с пальцем правой руки.

Олег посмотрел на два больших пальца на стойке и подумал о восьмипалом теперь трупе в могильной яме.

— Вскипяти воды, — приказал Глеб.

Олег набрал во дворе горшок снега, зажег газовую плитку и поставил горшок на огонь. Снег растаял за считаные минуты и превратился в бурлящую воду. Глеб взял недостающий палец девятипалого и окунул внутрь. Палец промерз насквозь, так что потребовалось добрых десять

минут, чтобы он стал пластичным. Из оттаявших сосудов начала сочиться кровь, она окрасила воду в розоватый оттенок. Как только кровь потекла сильнее, Глеб вытащил палец ложкой, согнул и снова выпрямил, чтобы убедиться, что он работает. Удостоверившись в пригодности пальца, он открыл несколько ящиков в поисках нужных хирургических игл и нитей.

— Может, дадим пальцу имя? — предложил Олег. Глеб промолчал: его раздражал брат в шапочке медсестры.

Он наконец нашел нужные инструменты и приступил к работе. Глеб вытащил сосуды из руки девятипалого и соединил с сосудами нового большого пальца. Затем он перешел к мышцам и закончил соединением плоти и кожи. Как только большой палец был прикреплен к телу, кровь начала поступать с удвоенной силой. Палец порозовел и стал слегка подергиваться.

Девятипалый человек, превратившийся в десятипалого мутанта, очнулся и восторженно посмотрел на Олега и Глеба. Он пошевелил новым пальцем и поцеловал его в знак приветствия.

— Ты этим пальцем еще много грязных делишек сделаешь. — Олег приподнял брови.

Десятипалый мутант был слишком благода-

рен, чтобы обидеться на эти слова. Глеб, похоже, был доволен результатом. Олег спел пациенту несколько народных песен, чтобы окончательно разбудить и привести в чувство. Братья поздравили друг друга с успешной операцией и отправили своего прекрасного пациента в барак.

За три дня слух о хирургическом волшебстве Глеба и Олега распространился по всей тюрьме. У лазарета выстраивались длинные очереди, и когда офицер наконец пришел поздравить братьев с успешным присоединением пальца, ему совершенно не хватило места. Олег, взобравшись на стол, демонстрировал последние веяния в области континентального вальса. Глеб же разбавил немного эфира водой и был пьян в стельку.

Тогда офицер догадался, что Олег и Глеб закатили грандиозную вечеринку. Это привело его в ярость, он решил поставить их на место: загрузить работой и показать, кто здесь главный. Офицер решительно вошел в барак, где обнаружил лишь невинного старика, в одиночестве читавшего Библию.

— Одевайся! — рявкнул офицер. — Тебе приказано явиться в девятую камеру!

Старик испуганно подскочил и оделся. Он медленно доковылял до девятой камеры, где его уже

ждал офицер. Тот достал нож для колки льда и выколол старику глаза. Старик закричал и, корчась от боли, упал на колени. Жидкость из глазниц сочилась на деревянный пол.

— Вылечите *его,* Глеб и Олег! — крикнул офицер.

Вскоре изувеченного старика нашел сокамерник, тот лежал на полу без чувств.

— Помогите! — закричал обеспокоенный заключенный. — Помогите! Кто-нибудь, помогите отнести старика к Глебу и Олегу!

Собрались еще несколько заключенных, и по снегу и холоду они отнесли старика в лазарет.

Братья приходили в себя после вчерашнего эфирного запоя и все еще были слегка пьяны. Когда Олег увидел глаза старика, его стошнило в чашку.

— Фу! — сказал Олег.

— Боже мой! — сказал Глеб.

Два брата и остальные заключенные серьезно оглядели старика. Глеб отозвал Олега в сторону, чтобы решить, что делать дальше.

— Ну, — сказал Олег. — По крайней мере, этому старику и так недолго оставалось.

— Дурак, — сказал Глеб. — Он не умрет. Проблема в том, что он больше не сможет видеть.

— Понятно… А что у нас на кону? — спросил Олег.

— Наша гордость, — сказал Глеб. — И, возможно, наше положение среди заключенных. Офицер сделал это специально — чтобы показать, что мы не боги.

— Как же утомительно что-то доказывать, — сказал Олег. — Даже не думай просить меня сделать пиету[1] изо льда.

— Все еще хуже, — сказал Глеб. — Думаю, придется придумать, как вернуть этому слепцу зрение.

За окном лазарета завывал ветер. Глебу и Олегу показалось, что это конец. Но вдруг Олег вспомнил, что видел нервного заключенного, который спит с тряпичной куклой со стеклянными глазами.

— Точно! — воскликнул Олег. — Что может быть лучше, чем видеть красоту? Только воплощать ее.

Он поделился своими идеями с братом. Новоиспеченный план был тут же согласован, и они попросили обеспокоенного заключенного, что принес старика, найти нервного заключенного с

---

[1] Примечания: 1

Пиета — изображение скорбящей Богоматери, держащей на коленях мертвого Христа. *(Прим. перев.)*

куклой и украсть его любимую игрушку.

Тем временем Глеб подготовил глазницы старика. Он вычерпал из них остатки глазных яблок и прижег нервы. Поняв, что о нем заботятся, старик успокоился и почти перестал стонать. Когда чистка была проведена, он осторожно моргнул пустыми глазницами.

— Какая глубокая чернота, — сказал старик. — Темнее всего, что я когда-либо видел. Словно морские глубины.

— Как красиво, — сказал Олег. — Звучит очень расслабляюще. Возьми на заметку, Глеб. Если они все же по-настоящему за меня возьмутся, первым делом выколи мне глаза.

Наконец обеспокоенный заключенный вернулся в лазарет с куклой.

— Отлично подойдет! — сказал Глеб.

Олег осмотрел куклу и бритвой вырезал ее стеклянные глаза. Пока Глеб их стерилизовал, Олег зашил кукле глаза и нарисовал углем реснички.

— Теперь она спит, — прошептал он обеспокоенному заключенному. — Попробуй найти хозяина куклы и вернуть ему ее. Передай, что кукла устала видеть ужасы, что творятся в этой тюрьме. Она сама попросила нас удалить ей глаза, мы просто следовали указаниям пациента.

Объясни ему. Уверен, он поймет.

Обеспокоенный заключенный отнесся к затее скептически, но все же поспешил прочь. Глеб почти закончил стерилизацию и возился с особенно упрямыми остатками клея.

Олег повернулся к старику на операционном столе и сказал:

— Зрение, которое вернется к тебе после операции, будет немного иным. Оно потребует от тебя чуть больше воображения, чем прежние глаза. Однако можно сказать, что теперь у тебя будет зрение настоящего художника. Ты сможешь увидеть ту красоту, о которой я лишь мечтаю. Кроме того, образы, что покажут тебе новые глаза, будут ближе к Богу. Наши обычные глаза не очень-то на такое способны. Так что имей в виду: новые глаза покажут тебе образы, которые нужно будет разгадать. Разбить на части, словно яйцо, чтобы увидеть внутренности.

С этими словами Олег наклонился и поцеловал старика в лоб. Старик расслабился и в предвкушении заморгал пустыми глазницами, которые, видимо, были готовы к заполнению. Глеб надел перчатки и приготовился вставлять новые глазные яблоки.

— Итак, — сказал Глеб, — больно быть не долж-

но, но дай знать, если что-то почувствуешь.

Он взял щипцы и раздвинул правые веки старика.

— Олег! Глаз! — приказал Глеб. Олег схватил стеклянное глазное яблоко и вставил его внутрь. Раздался хлопок, и глаз втянулся в глазницу. Старик моргнул и улыбнулся.

— Теперь второй! Быстро! — крикнул Глеб. Он не собирался сбавлять темп.

Когда оба новых глаза были на месте, старик сел и поморгал.

— Святые! — выдохнул старик. — Я был слеп, но снова вижу!

Он схватил Олега за руку и сказал:

— Все так, как ты мне и говорил, дорогой! Зрение стало другим, но, может, со временем, когда я научусь им правильно пользоваться, оно откроет мне то, чего я не видел раньше.

Олег помог старику встать и отвел обратно в барак. Увидев, что братья вернули старику зрение, заключенные возликовали.

— Боги! — крикнул один из них. — Истинные пророки!

Глеб смутился и попытался отмахнуться от одобрительного гула. Олег же принял комплименты и отвесил глубокий, изящный поклон.

Офицер из своей спальни услышал шум и раздраженно отправился выяснять, в чем дело. Подойдя к баракам, он обнаружил изувеченного им ранее старика, который теперь выглядел веселым и полностью восстановившимся. Казалось, рана вдохнула в старика вторую молодость. В знак ликования старик даже поднял руки над головой. Офицер не мог оторвать взгляда от его новых прекрасных голубых глаз.

В страхе офицер лихорадочно огляделся. В дальнем углу барака он заметил Глеба и Олега, которых ликующая толпа подхватила на руки. Заключенные скандировали: Глеб и Олег! Глеб и Олег! Их оглушительные крики становились все громче. Офицер уже не мог вспомнить, кого из братьев как зовут и было ли на самом деле братьев двое или это был один человек с двумя именами.

— Глеб и Олег! Глеб и Олег! — кричали заключенные.

Они подняли братьев на стропилы, где те отплясывали джигу и танцевали друг с другом. Заключенные продолжали петь и ликовать. Олег, настоящий любитель рисоваться, убедил Глеба станцевать вальс и в завершение наклонил его над стропилами. Заключенные разбушевались

еще сильнее и затопали ногами. Олег подмигнул толпе, а затем, изображая кокетство, поцеловал Глеба в губы. Вскоре все заключенные разбились по парам и начали вальсировать по баракам, напевая одну и ту же мелодию. Старик, обрадованный таким торжеством по случаю своего выздоровления, перекинул через плечо свою длинную бороду и завыл. По дикому, осунувшемуся лицу расплылась малозубая ухмылка.

Офицер в ужасе смотрел на все происходящее. Он вдруг понял, что эти два брата — воплощение самого дьявола. Он поспешил обратно к себе, где сделал петлю, забрался на стул, просунул в петлю голову и повесился. Глаза вылезли из орбит, а на коже у воротника образовалось красное кольцо от веревки. Мужчиной он был очень крупным и толстым, а потому гравитация сыграла ему на руку и быстро оборвала жизнь.

Пока офицер вешался, Глеб с Олегом продолжали праздновать свой медицинский успех.

Один из крестьян, что жил в деревне неподалеку от тюрьмы, услышал восторженные крики и заглянул в дыру в деревянной стене барака. Он огляделся по сторонам и обнаружил лишь радостные танцы. Крестьянин заметил даже старика, танцующего в одиночестве, для своих лет

он был очень бодр. Оказаться в тюрьме, но быть свободным в душе! — подумал крестьянин. — Вот бы всем нам так повезло!

С этими мыслями крестьянин отправился домой по заснеженной тундре. Он шаркал ногами и сгибался под тяжестью своей ноши — дров и шерсти. Пока крестьянин шел, над ним взошла луна, и целая стая гусей провожала его взглядом. Он все удалялся от тюрьмы, а снег кружился все быстрее. Ветер и лед почти полностью заглушили радостные возгласы. До самого конца пути крестьянин слышал лишь разбушевавшуюся стихию, швырявшую в него снег. Пытаясь от него защититься, крестьянин поглубже натянул капюшон. Чтобы развлечь себя и окончательно не замерзнуть, он завел песню заключенных. Глеб и Олег! Глеб и Олег! — кричал крестьянин. Глеб и Олег! — Он пел и пританцовывал в такт. Глеб и Олег! — повторял крестьянин, шагая к теплу своей жены и горячему ужину, ожидающему его дома.

Время идет

Я сделала двадцать четыре печальные стрижки, двадцать четыре раза парикмахерша водила бритвой по моей шее — восемь лет, по три стрижки в год прошло с тех пор, как у меня забрали мужа, вытащили ночью из постели и увезли на автобусе или поезде, а может, заставили идти пешком (я даже не знаю) — в тундру, покрытую снегом землю, а может, в бесплодные прерии, где не могут выжить даже птицы. Моя парикмахерша начинает с передней части, а затем стрижет волосы сзади.

Я захожу постричься. Вижу, как падают клочьями мои седые волосы, как они падают на пол парикмахерской. Вижу, как мой муж ростом с дюйм сгребает в кучки белую траву, расчищая дорогу к своему бараку, убирает пряди волос в сторону. Уйди с дороги, берегись, — говорю я ему, — берегись, падает еще один, еще один клок волос летит на тебя, он большой, лучше отойди, пока он не упал.

Я ношу короткий боб с прямой челкой чуть

выше бровей. Я хожу с такой прической с тех пор, как ушел муж. Только волосы у меня тогда были черные, а сейчас, конечно, седые. Может, моя седина — это подарок от мужа, что-то тайно переданное мне, частичка его мира, белый снег, которым он хотел со мной поделиться, и это — единственный известный ему способ.

Я храню волосы в банках, чтобы отмерять, как идет время. Для каждой стрижки — своя банка. Я сделала для них отдельную полку. Цветовая гамма переходит от темного к светлому, от ночного к белому, от черного к бесцветному. Банки с седыми волосами изогнуты, поэтому кажется, что волос в них больше, но это лишь искажение формы. Шесть, двенадцать, восемнадцать, двадцать четыре — так я отмеряю года. По шесть стрижек в два года — так проще наблюдать за временем.

Я представляю, как опустошаю банки над кроватью и смешиваю на ней все цвета, будто варю суп из соли и перца, и складываю волосы в один большой запечатанный сосуд. Моя жизнь — в стрижках, отсутствие мужа — во взмахах ножницами, в полке, что прогибается под тяжестью стеклянных банок, которые ждут, когда их содержимое соединится.

Когда я представляю мужа, мне видится, что его волосы отросли до колен, а спутанная на концах борода больше не по плечи, а по самый живот. Он улыбается, и густая борода улыбается вместе с ним. Для него время не идет. Он не делал стрижек, возвещающих о вращении солнца. Его волосы отрастут настолько, что из них можно будет сделать петлю, и надзиратели повесят его на стропиле за собственные волосы.

Я отправила в лагерь письмо с просьбой послать мне волосы мужа, когда они с ним разделаются. Тогда я разрежу петлю на отдельные пряди, смешаю со своими обрезками и подожгу, чтобы наши волосы вместе сгорели в той глубокой яме, что я выкопала на заднем дворе.

Полный рот рыбы

Моя кровь заболела, и я начал угасать вместе с ней. Врачи принесли мне чистые бланки с медленной смертью. А я уехал далеко, только бы не быть там. Пока я ехал по Техасу, у меня отказал нос, и из него начало течь. Я съехал с автострады и проехал через город. Дважды моргнул и оказался у больницы. Белое оштукатуренное здание выделялось на фоне пыльного рыжего окружения. Потная ладонь скользнула по ручке автомобиля, и я вывалился на тротуар. Снова моргнул два раза и оказался внутри. Меня окружили стерильные шприцы и выцветшие сиденья. Медсестра показала кровь, которую выкачала из моей руки и собрала в пакет.

— Скоро вернусь, — сказала она.

Я кивнул.

Медсестра заковыляла к выходу, а я начал рассматривать узор на линолеуме. Тишину нарушил скрип инвалидных колясок. Я оказался в Балморее, небольшом городке между Марфой и Таосом, где люди останавливаются, чтобы заправиться. Яркий солнечный свет из окна слегка приглуша-

ли цветастые шторы. Я куда-то направлялся, и это “куда-то” точно была не Балморея. Я стиснул зубы.

— Фрэнк, — обратилась к кому-то моя медсестра, — могу я тебе чем-нибудь еще помочь перед тем, как ты вернешься в “Лунные камешки”?

Я повернул голову. Мне хотелось получше рассмотреть этого Фрэнка, которому моя медсестра уделяла столько внимания.

Он сидел в электроколяске, к спинке которой был прикреплен кислородный баллон. К носу Фрэнка тянулись прозрачные трубки, они слегка двигались, когда мужчина улыбался. Над морщинистым кадыком висел голосовой аппарат.

— Все хорошо, моя дорогая, — пробормотал Фрэнк. — Я готов.

Слова Фрэнка будто выходили из неисправного динамика, утопленного в неглубоком ведерке. Даже в тишине все равно слышались помехи. Фрэнк посмотрел на меня с другого конца коридора и широко улыбнулся.

Я наблюдал, как Фрэнк ездит по больнице на своей электроколяске и прощается с медсестрами. Он шептал им на ухо электронные пожелания и продолжал улыбаться прозрачными трубками. Напоследок он тяжело вздохнул и развернулся.

Наконец он добрался до пандуса и съехал на пустынную улицу. Я посмотрел ему вслед.

Вернувшаяся медсестра сообщила, что мне с моей кровью нужен отдых, поэтому я заселился в ближайший мотель. Я закрыл глаза, а затем открыл. Приподнялся, встал с кровати, посмотрел в окно, затем на телевизор и решил, что нужно прогуляться. Прогулка, подумал я, пойдет мне на пользу. Я вышел из номера и погрузился в ночь. Пройдя вдоль автострады, я прошел через Балморею пешком под светом желтых фонарей. Также свет исходил от одного одинокого здания. Обветшалый двухэтажный дом из дерева с просторным крыльцом, на котором красовалась вывеска: “Лунные камешки”. Казалось, она издавала тихий гул, который становился все громче с моим приближением. Я поднялся по лестнице, толкнул качающуюся дверь магазина и окунулся в свет и шум. Я в ужасе заткнул уши. Куда ни глянь, повсюду быстро вращались черные машинки. Они вращались и вращались, внутри у них были камни, а из корпусов тянулись металлические провода. На полках, на полу и под потолком. Все вокруг казалось размытым. Лишь намеками на сами предметы. Звуки заполняли собой пространство. Я не слышал ни стука сво-

их шагов, ни биения сердца, ни размеренного дыхания. Привычные звуки исчезли. Эти машинки-камнедробилки проникали прямо ко мне в уши и один за другим уничтожали оставшиеся эритроциты, словно птицы, клюющие хлебные крошки. Бам-бам. Я чувствовал, как кровь внутри меня умирает.

Я пытался понять, для чего служат эти вращающиеся машинки, как вдруг появился Фрэнк и выдернул вилку из розетки. Тишина опустилась на комнату черным облаком.

— Эй, незнакомец! — Фрэнк улыбнулся пластиковыми трубками. — Любишь камни?

Фрэнк выбрался из-за стола и выкатился мне навстречу.

— Камни, окаменелости, кости динозавров: просто полирую их, пока город спит. Иди сюда, покажу тебе лучшие экземпляры. Держу пари, там, откуда ты родом, нет камней.

Фрэнк подъехал к ювелирному столу, и я подошел следом. Он достал из ящика потертый бархатистый поднос и несколько камней. Вокруг сгустилась тишина. Фрэнк включил настольную лампу.

— Посмотри, видишь маленькие красные прожилки по краям? А по черному кругу в центре

можно отличить камни из Балмореи. Отсюда, прямо с моего заднего двора они разлетаются по всему миру! Все потому, что людям нравятся красные камешки — правда же, они великолепны?

— Я еду с востока на запад, — сказал я.

Уголки его губ слегка тронула улыбка, и он взял с подноса один из камешков. Его жесткая шея практически перестала двигаться, поэтому, вместо того чтобы наклониться ко мне, он лишь вытянул вперед тощую, сморщенную руку.

Я посмотрел на коляску Фрэнка. Сложный механизм. На правом подлокотнике находилась панель управления и красная кнопка под прозрачной крышкой. Фрэнк открыл ее, поднес палец к кнопке и подмигнул:

— Так я запускаю свои торпеды.

Я улыбнулся.

— Хочешь в кругосветку? — спросил он.

Я кивнул.

— У меня все управляется дистанционно. — Он лучезарно улыбнулся и начал объезжать свой магазин. — Прилавки низкие, чтобы можно было дотянуться, не вставая с кресла.

Все вокруг было покрыто въевшейся грязью, ведь Фрэнк не мог ее убирать.

— В дальней части магазина я сплю, — сказал

он. — Отодвинь занавеску.

Там оказалась причудливая механическая кровать.

— Чертовски хороша, — сказал Фрэнк. — Такие кровати стоят дороже хорошего пикапа.

— Охотно верю.

— Видел здешние источники? — спросил Фрэнк. — Они тут недалеко. Если понесешь меня, я покажу дорогу.

Ночь была жаркой, и купание в источниках не казалось совсем уж безумной затеей.

— Эти источники во всем мире известны. Искусственные бетонные борта удерживают воду из источников в большом бассейне. А вот дно — обычный техасский гранит. Местами там глубоко, а днем или при лунном свете можно увидеть рыбу и другую живность на дне. Рыбки будут скользить у твоих ног, проплывать между пальцами, а если не будешь двигаться, малыши даже в рот заплывут.

Глаза у Фрэнка намокли: то ли они всегда слезились, то ли он переволновался.

Фрэнк показал, как отстегнуть его от кресла, и я взял его на руки. Сначала я нес Фрэнка, как ребенка, а затем перекинул за спину, как мешок с рисом. Когда несешь человека на руках, чув-

ствуешь, что чего-то все же стоишь. Добраться к источникам можно было только пешком, и меня это радовало. Мы пробирались сквозь пустынные джунгли с кактусами и умирающими от жажды деревьями. Они становились все гуще. Кислородный баллон неприятно сдавливал мне левую руку. Правой я поддерживал самого Фрэнка. Он хрипел мне в ухо, его дыхание казалось записанным на кассету, как звуки волн, которые переслушивают после путешествий. Мы с Фрэнком сами стали машинами, подумал я. Доберемся до источников и позволим рыбе плавать у нас во ртах.

Держа на руках Фрэнка и пытаясь не замечать тяжести повисшего на мне кислородного баллона, я размышлял, как высоко мне придется подняться. Ногам становилось жарко. Фрэнк меня подгонял. Я видел, куда нам нужно. Асфальт перешел в гравий, и я изо всех сил старался удержать равновесие. Фрэнк хрипел у меня на руках и кричал через голосовой аппарат, заставляя меня поверить, что это важнейшее дело моей жизни, что если я не справлюсь, то, черт возьми, мы прямо сейчас перестанем дышать и умрем.

Когда мы все же добрались до источников, я посадил Фрэнка к дереву, а сам снял обувь и по-

трогал ногой воду.

— Говорил же, что так и будет. — Фрэнк широко улыбнулся, прозрачные трубочки тут же радостно приподнялись.

Он посмотрел вверх на луну и яркие звезды. Что-то пролетело над нами. Вот он Фрэнк. Он сидел у дерева, запрокинув голову, его трахея натянулась, словно маленький сморщенный рот. Я положил кислородный баллон Фрэнку между ног — баллон был похож на спящего ребенка.

— Мне нравится, как ты выглядишь, — сказал я. — Нравится, как ты выглядишь с этим баллоном.

Он опустил голову, подбородок напрягся, а верхняя губа накрыла зубы.

— Дай мне пять минут, и я избавлюсь от этой дурацкой штуки. Отдышусь, а потом ты занесешь меня в воду.

Я снял с себя одежду и, оставшись в одном белье, прыгнул в источник. В воде чувствовалось нечто живое, хоть я и не сразу понял, что именно. Может, запах. Вода испускала запах плесени, гнили и жизни. Луна оставляла на гладкой поверхности серебристые шрамы. Я ждал, что рыбки вот-вот начнут щипать меня за ноги, но никто не подплывал.

— Ты соврал, Фрэнк, — сказал я. — В этих источниках нет рыбы, лишь причудливое гранитное дно.

Фрэнк встал, чего до этого при мне не делал. Он вытащил трубки из носа и положил рядом с баллоном. От нехватки кислорода Фрэнк слегка покачнулся; я забеспокоился, что он сейчас упадет. Но он медленно разделся. Было слышно, как хрипит голосовой аппарат. Я старался отвести глаза, но старое, изломанное тело Фрэнка в свете серебристой луны приковало к себе мой взгляд. Сначала на землю упала рубашка, затем штаны. Фрэнк носил белое, похожее на армейское, нижнее белье.

— Иди сюда, — прохрипел Фрэнк. — Я кое-как стою, но ходить точно не смогу!

Я подплыл к краю и выбрался из воды. Вблизи Фрэнк выглядел похожим на усохший фрукт. Я встал рядом.

— Ты низкий.

— Я уменьшился, — в темноте ответил Фрэнк. Его грудные мышцы ввалились, живот вздулся, бумажная кожа будто слезала с костей. — У нас мало времени. Отнеси меня к краю.

Я аккуратно его поднял, атрофированные ноги свободно болтались в воздухе. Я поднес его к

краю и опустил в воду. Губы Фрэнка сложились буквой “О”.

— Я не купался много лет. — Фрэнк посмотрел на меня и улыбнулся. — Залезай, потом меня поднимешь.

Я спрыгнул обратно в воду, повернулся к Фрэнку и уже положил руки ему на ребра, как вдруг тот прохрипел:

— Стой!

Фрэнк дотронулся до шеи и открутил микрофон, через который говорил. Свой голосовой аппарат он положил на берег в нескольких футах от края. А затем снова заговорил — получилось что-то неразборчивое. Голос у него был очень тихий. Он поманил меня к себе и протянул ко мне руки.

— Ближе, — прошептал он.

Он коснулся губами моего уха. Казалось, даже едва заметный ветерок вокруг нас был сильнее его дыхания, маленькой частицы жизни, что пульсировала в нем и каким-то образом заставляла сердце биться, а легкие — наполняться пустынным воздухом.

— Нужно быть осторожным, — пробормотал он. — Чтобы вода не попала в дырку.

Я услышал лишь пару звуков, отстранился, чтобы посмотреть на зияющую дыру в горле, из

которой они доносились, и увидел сквозь нее мышцы. Я слегка напрягся.

Фрэнк вздохнул, посмотрел на меня и сказал:

— Все, я готов. Отпускай.

Без голосового аппарата Фрэнк разговаривал только движениями губ и жестами. Если бы не яркий лунный свет, я не смог бы ничего разобрать.

— Что с тобой случилось? — спросил Фрэнк. — Что-то сломалось?

— Что-то внутри, — сказал я.

— Но ты ведь ужасно молодой.

— А что, есть возраст, когда собственному телу позволено тебя ненавидеть?

— Думаешь, мое тело меня не ненавидит?

— Взгляни на себя! — Я разозлился. — У моего тела нет такого права.

— В Балморее из тебя, наверно, целый пакет крови выкачали?

— Да, я потому и задержался. Знал, что придется сделать пару укольчиков.

— Что может быть хуже, — сказал Фрэнк.

Я посмотрел на Фрэнка, он сидел на краю, свесив ноги в воду и слегка запрокинув голову. Я смотрел на него, а затем на звезды и представлял, как все они собираются в центре и сыпятся в отверстие на горле Фрэнка. Я осмотрел себя. У меня

тоже были отверстия, но самые обыкновенные. Если бы звездам захотелось куда-то упасть, они точно выбрали бы отверстие на горле Фрэнка.

— Ну как тебе моя дыра в горле? — спросил Фрэнк. — У тебя-то такой нет?

Он пытался меня рассмешить.

— Ну же, давай заходить. — Уже стоя в воде, я взял Фрэнка под руки и потянул на себя. Его кожа заскользила под моими пальцами, и я испугался, что она порвется. Я перехватился удобнее и потянул снова, на этот раз вверх и к себе. Его тело оторвалось от бетона и упало в воду. Мы оба задрожали, словно листья на ветру, но я его не отпустил — ждал знака. Он поднял руки к небу, и мои ладони соскользнули. С пальцев капала его кожа. Мне хотелось отвести взгляд, но приходилось следить, чтобы его не унесло водой и он мог дышать и двигаться.

Движения, казалось, давались ему легко: вода забирала большую часть веса, и хрупкие кости просто плавали сами по себе. А я тем временем переплыл на другую сторону. Бассейн был достаточно большим. От главного источника было несколько ответвлений, похожих на природные джакузи. Мы проплыли в один из таких изгибов. Несколько раз я нырнул с головой. Некоторые

бассейны ярко освещала луна, и в них отчетливо виднелось дно. Некоторые же оставались темными. Гранит под ногами сдвинулся, и я понял, что могу порезаться. Наверняка на дне есть острые как бритва скошенные камни. В темноте Фрэнк даже не заметит кровь. Никто не узнает, что случилось, пока утром не найдут задыхающегося Фрэнка в луже моей крови. А мое тело будет мирно дрейфовать на поверхности вместе с сосновыми иголками.

Я оглянулся на Фрэнка, но не увидел его. Я всмотрелся в темноту пристальнее, но он так и не показался. В панике я выскочил на берег и побежал на другую сторону источника. Вода с меня стекала на бетон, все еще горячий от дневной жары. На поверхности появились пузыри, большие, пузатые пузыри. Я уже приготовился прыгнуть в воду, чтобы вытащить Фрэнка и начать вдыхать воздух прямо ему в шею, пока он не надуется, словно воздушный шар. Но приблизившись, я увидел, как Фрэнк улыбается мне под водой. Игриво поднимает и опускает брови. Отверстием в горле он выдыхал пузыри, один за другим в определенном порядке, как будто хотел посчитать, сколько пузырей он успеет выпустить, пока не закончится воздух. Наконец он вынырнул, сде-

лал глубокий вдох и снова погрузился под воду. Его освещала луна. Фрэнк запрокинул голову, и на миг мне показалось, что сейчас все звезды на небе соберутся вместе и хлынут в отверстие на его горле. Но из него лишь вырвался одинокий пузырь и расцвел на поверхности. Затем Фрэнк выпустил еще три пузыря. Затем пять. А затем на водной глади образовался целый вулкан из пузырей, и Фрэнк вынырнул, жадно хватая ртом воздух. Он улыбнулся. Затем подмигнул мне и едва слышно сказал, а может, произнес одними губами:

— Я даже не знал, что так могу.

— Ты соврал, Фрэнк, — сказал я. — Я не вижу тут никакой рыбы.

— Они здесь, — послышалось мне. Фрэнк поманил меня обратно в воду.

Я скользнул с берега, теперь наши с Фрэнком ноги оказались рядом. Вдруг мне показалось, что краем глаза я увидел рыбку. Маленькую черную рыбку размером с мизинец. Я показал туда, и Фрэнк кивнул. Рыбка скрылась из виду, а затем снова появилась. Я опустил руку в воду и раскрыл ладонь. Между ней и поверхностью было около трех футов. Я ждал. Я закрыл глаза и попытался ощутить скользящую по ладони рыбку. Я ждал

мельчайшего шевеления. Ничего не произошло. Я открыл глаза и посмотрел на Фрэнка. Он опустил в воду половину головы и раскрыл рот. Взгляд он устремил прямо перед собой — не на воду или небо, а на дерево в отдалении. Я не двигался. И она попалась. Фрэнк закрыл рот и с выпученными глазами подтянул себя к краю источника. Он выплюнул рыбку на берег. Она плюхнулась на бетон, словно стеклянная игрушка. У нее была блестящая черная чешуя. Я понял, что она умирает, и собрался было вернуть ее в воду, но Фрэнк остановил меня своей костлявой рукой и одними губами прошептал:

— Пусть умрет.

Рыбка задергалась сильнее, рот открывался и закрывался в тщетном поиске воды. Я перевел взгляд на пустыню вдали, подальше от рыбки, и та наконец затихла. Я оставил Фрэнка в воде, а сам выбрался из источника. Мне не хотелось смотреть ни на Фрэнка, ни на рыбку. Я мог бы просто оставить его в бассейне и за десять минут дойти до города. Кто знает, сколько Фрэнку пришлось бы сидеть в источнике без кислорода. Может, завтра сюда никто не придет. Я на это надеялся.

Я надел штаны и кроссовки, а рубашку намотал

на голову, словно тюрбан — надо подождать, пока высохнет тело. Мне стало ясно, что я совсем не знаю Фрэнка. Он ждал, пока я его вытащу, опершись на край бассейна. Голова покоилась на скрещенных руках, щека сплющилась о запястье. Ну точно королева красоты. Я ждал, что он мне подмигнет. Вполне в его духе. Я попытался забыть о мертвой рыбке. Не смотреть на нее и не замечать. Горизонт окрасился в желтый. Я вытащил Фрэнка из бассейна, он сидел, свесив ноги в воду, и обсыхал. В это время он снова включил свой голосовой аппарат и прочистил электронные связки. Я обрадовался, что отверстия на горле снова стало не видно. Мне хватило.

Я помог ему встать. На бетон упало несколько капель.

— Принеси мой баллон.

Я поднял его из пыли и отдал ему трубки. Фрэнк снова вставил их в нос, обмотал вокруг себя и вдохнул. Он заметно увеличился от поступающего внутрь кислорода. Белые армейские боксеры облепили ноги и яйца, и теперь он выглядел совершенно непохожим на человека. Таким мокрым, скользким, словно в чешуе, по форме напоминавшим гнилую грушу с трубками вокруг лица. Утренний свет обнажил на его коже наро-

сты, родинки, пигментные пятна и фиолетовые дорожки вен.

Назад мы возвращались тем же путем, по пустынной тропинке к Балморее. Я нес Фрэнка на руках, мы оба все еще были мокрыми. Пока мы, уставшие, ковыляли по улице, позади нас взошло солнце.

— Как мы, по-твоему, выглядим? — спросил Фрэнк.

— Хорошо, — ответил я. — Мы выглядим хорошо.

Пока мы шли, я представлял, как мы с Фрэнком попали в рот к врачу, как мы вместе лежим под его языком в лужах слюны, как трубки Фрэнка прикрепляются к кариозному моляру в глубине гигантской челюсти. Я представлял, как мы играем под нёбом в карты, как ради забавы выдавливаем язвы и собираем мертвые вкусовые рецепторы, чтобы приготовить на гриле, который мы установили у входа в пищевод. Как я раскачиваюсь на миндалинах, словно на качелях, повисших над рекой, как работаю ногами — туда-сюда, вперед-назад, — как вылетаю изо рта и падаю на твердый бетон.

Что построила девушка

Девушка сидит в лодке, лодка вмерзла в лед, который не дает ей двигаться. К лодке доставили письмо. Девушка выходит из лодки и на лыжах едет на север — туда, откуда пришло письмо. Мир замерзает, и ветер создает снежные дюны. Руки девушки покрыты кожаными перчатками, а лицо — тканью, но ей все равно холодно и трудно дышать, лед сковывает движения. Девушка должна ехать, ведь лед следует за ней по пятам. Если лед ее нагонит, она обмякнет в его холодных объятиях и исчезнет в снегу. В поле зрения появляется каменный домик с соломенной крышей, снаружи его освещает фонарь. Из каменной трубы валит дым. Деревянная арочная дверь открывается, и девушка видит свою тетку в фартуке. Та выбегает навстречу девушке и затаскивает ее в дом, где тепло и пахнет едой. Тетка ведет девушку вниз по винтовой лестнице — за большим столом собралась вся семья. Девушка оглядывается вокруг и видит мать, отца, дядю, сестру, бабушку и кузину, кузена и кузину. Она смотрит на мать и спрашивает:

— Мама, я получила письмо, где Ивар?

Вся семья перестает есть, дядя поднимается на ноги и собирается что-то сказать. Затем снова садится и смотрит на тетку. Девушка по очереди смотрит на всех членов семьи. Ей все еще холодно, и она с трудом двигает конечностями. Лед на ней растаял и намочил голову. Девушка вспотела, но онемение ее не оставляет. Семья снова начинает есть. Мать жестом предлагает девушке сесть рядом на деревянную скамью за большой стол, но девушка округляет глаза. Кузина смотрит на нее:

— Садись…

Но девушка не слушает и кричит:

— ГДЕ ИВАР?

Девушка сжимает стучащие зубы и начинает дрожать. Бабушка с трудом встает из-за стола и шепчет:

— Деточка, тебе нехорошо. Ты проделала такой путь. Я провожу тебя в спальню, где ты отдохнешь.

Девушка не двигается с места, дрожит и кричит матери, что та никогда не пишет в письмах правды. Бабушка хватает девушку за руку и уводит подальше от стола — вниз по еще одной лестнице в теплую круглую спальню. В небольшой комнате горит камин, а в центре стоит кровать с кучей

одеял. Тяжело дыша, девушка падает на кровать и обхватывает голову руками, тело сотрясается от рыданий. Бабушка закрывает за собой дверь. Оставшись одна, девушка трясется еще сильнее. Она качается взад-вперед, пока совсем не выдыхается. От камина исходит тепло, и девушке становится жарко. Она подходит к двери и задвигает засов. Посреди комнаты девушка снимает с себя всю одежду и опускается на колени. Затем — на четвереньки, поближе к земле. Заплетенные в косу волосы падают на лицо. Девушка закрывает и открывает глаза. Затем опять закрывает и садится на пятки, кладя руки на колени. Земляной пол холодный. Девушка снова открывает глаза. Напротив нее на полу сидит Ивар. Он безразлично смотрит на нее и говорит:

— Кузина, ты пришла меня проведать.

— Да! — говорит девушка. — Да! Мама написала письмо, сказала приехать. Ивар… Ивар, ты отлично выглядишь!

Ивар не двигается с места, не подходит ближе. Ивар зевает.

— Кузина… построишь мне стул?

— Какой стул тебе построить, Ивар?

— Хороший стул, — говорит Ивар. — Из дерева, но без гвоздей. Только на соединениях. Мне нуж-

но заполнить комнату стульями.

— Это ведь очень много стульев, Ивар, — говорит девушка. — Ты принес мне молоток и топор?

— Конечно, кузина. Посмотри налево, они лежат там.

Девушка берет молоток с топором и подходит к куче дров рядом с Иваром. Земляные стены расширяются, на полу лежат охапки дров и разные инструменты. Купольный потолок поднимается, и девушка видит, что ей понадобится очень много стульев, чтобы заполнить комнату. Она наклоняется и принимается за строительство. Соединяет несколько деревяшек в одну и говорит:

— Ивар, я закончила первый стул!

Ивар дремлет на полу, свернувшись калачиком и положив руки под голову. Девушка подходит и тормошит его:

— Ивар, пожалуйста, проснись, Ивар! Я сделала тебе стул.

Ивар открывает глаза и зевает:

— Да-да, кузина. Ты сделала мне отличный стул. Кому ты его отдашь?

— Этот стул твой. Второй будет моим. Остальные — для гостей.

— Кузина, у тебя много работы. Время уже позднее.

— Я буду работать быстрее.

Ивар садится на свой новый стул и снова засыпает. Девушка мастерит стул за стулом. С восходом солнца она заканчивает сотый. Девушка ищет взглядом Ивара, чтобы показать ему сотый стул. Стулья повсюду — они ровными рядами расставлены по комнате. Девушка потеряла Ивара из виду в этой огромной комнате.

— Ивар! — кричит она. — Ивар! Теперь здесь много стульев!

Девушка идет вдоль рядов. Заглядывает под стулья. Она ставит стулья друг на друга, чтобы гора достигла потолка. Девушка залезает наверх. Босые ноги касаются деревянных перекладин. Добравшись до верхнего стула, девушка складывает ладонь козырьком, пытается разглядеть Ивара. И она его находит: в свете нового дня Ивар раскинулся на нескольких стульях в дальнем конце комнаты. Девушка кричит:

— Ивар, я построила твои стулья!

Ивар вздрагивает во сне, но не просыпается. Он поворачивается и устраивается поудобнее на кровати из стульев. Девушка снова кричит, сложив руки рупором. Совсем голая, она кричит, стоя на горе из стульев. Они трясутся под ее ногами. Вдруг девушка соскальзывает и падает с горы

стульев на земляной пол.

Шум

В большом трейлере в Национальном лесу Уилламетт жила ясновидящая. В той части леса было очень мало солнечного света, он лишь проникал молниями сквозь небольшие прорези в густой хвое дугласовых пихт. Вокруг самого трейлера благоухали орегонские красные кедры. Ради дополнительного дохода ясновидящая собирала кусочки кедровой коры и продавала по интернету городским хиппи, любившим делать домашние благовония и попурри.

По субботам ясновидящая проводила групповые сеансы связи с умершими людьми. По воскресеньям — с умершими питомцами, в основном с кошками. Во вторую субботу сентября у ясновидящей собралось немало человек: три женщины за семьдесят из Бенда (Лилиан, Филлис и Кэрол), одна из которых привела двух внучек-подростков (Иззи и Оливию), супружеская пара лет пятидесяти из Портленда (Анна и Клифф) и молодой парень с короткой стрижкой, едва перешагнувший пубертат (Сэм). Всего восемь. Ясновидящая сказала себе, что ощущает энергию

собравшихся, и начала сеанс.

Все собрались в кругу ее гостиной и сели на белые складные стулья. Вечерняя прохлада заставила пришедших надеть минимум по два слоя одежды. Ясновидящая обмотала голову белой шелковой повязкой.

— Минута молчания, — сказала она.

Комната погрузилась в тишину. Ясновидящая раскинула руки в стороны, и остальные сделали то же самое, едва касаясь пальцев друг друга, чтобы образовать замкнутый круг. Две девочки поерзали на своих стульях и переглянулись. Если ясновидящая и обратила внимание на их скептицизм, то ничего не сказала.

— Мужчина в медицинском халате, — сказала ясновидящая.

— Он в кроссовках? — спросила Лилиан, пенсионерка из Бенда.

— Нет, — сказала ясновидящая. — На нем только носки.

— Это Роджер, — сказала Филлис, вторая пенсионерка. — Мой покойный дерматолог. Он любил ходить без обуви. Вроде как ходить, стоять и балансировать полезнее именно босиком. А у себя в кабинете он носил только тапочки с разделенными пальцами.

Помимо мертвого босоногого дерматолога у Филлис был муж, который остался дома смотреть телевизор, а также двое детей и несколько внуков, которые жили далеко. Филлис нравилось быть с другими людьми и заниматься чем-то вместе, в прошлом это сделало из нее ярую прихожанку. Подражание другим людям приносило ей огромное утешение. Ей нравилось знать порядок действий заранее. Например, после службы полагалось стоять на улице, пить кофе и есть пончики, всего-то и делов — поесть и выпить, зато потом люди в магазинах будут вам махать и уважать вас, ведь вы — уважаемый человек, член группы. Когда дети Филлис еще не подросли, она была активным членом родительского комитета и женского клуба, часто устраивала распродажи домашней выпечки и рождественские колядки, хотя сама никогда толком не умела готовить, петь или делать что-то еще. Именно эта черта Филлис привела ее в трейлер ясновидящей. Ее подруга из садоводческого клуба Бенда, Лилиан, была ревностной поклонницей генеалогии и мечтала поговорить с умершими родственниками, которые много поколений назад жили на побережье Орегона. Поэтому Филлис пришла к ясновидящей за компанию, в качестве нетерпеливой подруж-

ки, жаждущей увидеть, как мертвецы выходят из загробного мира, и скорее поделиться опытом с Лилиан и остальными дамами из клуба, потому что больше всего на свете Филлис боялась, что ее друзья на самом деле не настоящие и говорят за ее спиной гадости. Она хорошо помнила, как в ее подростковом возрасте мать наставляла Филлис: “Не переживай о том, что у тебя нет друзей в школе. Люди перерастают свою язвительность. Подожди, пока станешь старше. Тебя обязательно примут”. Филлис выросла и поняла, что это совершенно не так. Независимо от возраста люди всегда стремятся образовывать группы. Филлис ощущала, что вся ее жизнь стала отчаянной тщетной попыткой не остаться в стороне. Поэтому на заманчивое предложение Лилиан посетить дом ясновидящей Филлис согласилась не раздумывая — она нашла себе занятие на еще одну субботу, которую теперь ей не нужно было проводить дома с ужасным мужем. Вот почему ей было так важно показать, что первый явившийся дух — это именно ее дух, показать Лилиан, какая она предприимчивая и на все способная женщина — хорошая подруга, с которой можно развлекаться где угодно. Когда Филлис чуть больше часа назад села в машину в Бенде, она сразу же решила, что

обязательно увидит духа, обязательно. Когда она заявила, что узнала своего мертвого дерматолога, все были в ужасе, но Филлис это ничуть не смутило.

— Чего он хочет? — спросила Филлис у ясновидящей. — Кажется, я не оплатила свой последний счет.

Ясновидящая спокойно смотрела на пространство посреди комнаты. Прищурившись, она сказала:

— Он хочет, чтобы вы знали: все в порядке.

Похоже, такой ответ удовлетворил Филлис, потому что она облегченно вздохнула и сказала:

— Слава богу!

Она посмотрела на Лилиан в ожидании одобрения, но не получила его.

— Он уходит, — сказала ясновидящая. — А теперь возвращается. С ребенком. Маленьким ребенком, на вид ему четыре или пять. Он не знает этого ребенка. Это девочка. Он ей просто помогает. Несет на руках. Он снова уходит, теперь осталась только девочка.

— О боже! — сказала Анна, жена из Портленда. Она задрожала, муж Клифф взял ее за руку. Влажные глаза Анны округлились, рот открылся.

— Анна, прошу, — сказал Клифф.

— Она твоя? — спросила ясновидящая.

— Да, моя! — почти выкрикнула Анна. Клифф опустил взгляд.

— Кажется, у нее что-то с ухом, — сказала ясновидящая. — Что-то не так.

— Она упала в шахту лифта, — сказала Анна. — Мы жили в старом доме с кухонным лифтом, а ей нравилось играть там, где не следует…

— Как давно она умерла? — спросила ясновидящая.

— Двадцать лет назад, — сказал Клифф. Глаза у него были сухие. Он был растерян и пытался понять, как лучше вести себя с женой.

Анна почувствовала, как ей стало жарко, а затем холодно, будто Вильма, их умершая дочь, села к ней на колени и, как всегда, стала хватать за ее волосы. Анна так давно не видела Вильму. Та прожила на свете всего пять лет, с ее смерти прошло в четыре раза больше. Когда Вильма умерла, Анна еще какое-то время отчетливо ощущала ее присутствие. Как Вильма прячется по углам, кричит из окна, играет со своей плюшевой собачкой, тихонько смотрит телевизор и забирается в кровать между Анной и Клиффом. Было просто невозможно, чтобы Вильмы не было рядом, а потому она была — еще очень долго,

даже после переезда в новый дом и рождения Габриэля, их сына. Вильма была для Анны чем-то вроде ледяного шторма, что обрушился на их жизни несколько лет назад, а затем отступил, но оставил их дрожащими от холода и сбитыми с толку. Вильма была ребенком. Она была лишь ребенком и останется им навсегда, что невообразимо пугало Анну, а потому в ее сознании дочь стала меньше походить на человека, а больше — на ангела, которого Анна не смогла уберечь. Когда Клифф и Анна были совсем молодыми родителями, ее сестра Пэт часто звонила им и, будучи сильно старше Анны, говорила: “Милая, твоя единственная важная задача — просто не дать ей умереть”. Пэт смеялась, это была шутка, ведь не дать кому-то умереть — не такая уж и сложная задача, но оказалось, что именно с этой задачей Анна не справилась. Поэтому, когда Пэт прилетела из Балтимора на похороны, она не могла смотреть Анне в глаза: она знала, что слова, которые все эти годы она говорила в знак сестринского утешения, навсегда застряли у Анны в голове и никто не сможет помочь ей от них избавиться. Глубоко в лесу в доме ясновидящей, находясь далеко от своего прекрасного жилища в Портленде, Анна знала, как несчастен ее муж

Клифф, но ей было все равно, ведь после смерти Вильмы она научилась быть эгоистичной и требовать желаемого с особой убежденностью, которой раньше в ней никогда не было. Она захотела пойти к медиуму, и они пошли, потому что в ее просьбе к Клиффу звучала надломленность, которая напомнила ему, что именно Анна нашла тело Вильмы в шахте лифта — с разбитой головой, проломленным черепом и плюшевой собачкой в руках. Из трещины в макушке и из левого уха сочилась кровь.

— Она хочет остаться, — сказала ясновидящая. — Она что-то держит в руке. Она останется здесь, пока не разойдутся остальные. Хорошо?

Анна кивнула, а Клифф промолчал. Филлис, сидевшая рядом с Анной, сочувственно коснулась ее руки.

Клифф чувствовал себя так же, как после смерти Вильмы, — совершенно бесполезным. Он полжизни проводил с этим ощущением. Удивительно, что они с Анной до сих пор были вместе, что у них был сын Габриэль, способный понимать своих убитых горем родителей, постоянно преследуемых видением погибшей сестры, которую мальчик никогда не видел. Глядя на Анну, Клифф видел Вильму, это все усложняло и упрощало

одновременно: было сложнее забыть о дочери, но проще ее вспоминать. Все, что касалось детей, давалось ему лучше, чем Анне. У него лучше получалось заботиться о Вильме и лучше получалось переживать ее смерть. У него лучше получалось быть отцом для Габриэля, заботиться о нем, и это укрепляло веру Клиффа в то, что есть просто более устойчивые люди, такие, как он сам, и что у него есть особый дар — чинить тех, что надломились, чинить их отношения с Анной. У него не всегда хватало терпения, но он научился оставлять жену в покое. Он верил, что часто это помогает лучше всяких слов. Когда Анна просыпалась в слезах, Клифф просто вставал и уходил на работу, забирая с собой маленького Габриэля, и, возвращаясь домой лишь поздно вечером, находил жену в постели, которую она, вполне вероятно, не покидала весь день. Так, хотя Клиффа, конечно, не интересовали ни экстрасенсы, ни будущее, ни встреча с полуживой Вильмой, он добровольно отправился в дом ясновидящей, потому что этого хотела его жена, а он решил, что обязательно справится со всем, что там произойдет. Но увидев плачущую Анну на белом складном стульчике, Клифф понял, что, возможно, ошибся.

— Она сидит у ваших ног, — сказала ясновидя-

щая. — Ее силуэт слегка размыт: она на границе двух миров. Она кладет свою игрушку под голову, как подушку. Пусть пока отдохнет, а мы продолжим.

Анна посмотрела себе под ноги, будто готовясь прожечь взглядом дыру. Клифф пытался смотреть куда угодно, только не туда.

— Молодая женщина, — сказала ясновидящая. — С длинными светлыми волосами.

Никто ничего не сказал.

— У моей сестры были длинные светлые волосы, — сказала Филлис.

Лилиан бросила на нее угрожающий взгляд, который любой хоть сколько-нибудь чуткий человек воспринял бы как просьбу замолчать.

Парень с короткой стрижкой, Сэм, все еще не произнес ни слова. Он спокойно и терпеливо сидел слева от ясновидящей, будто ждал автобус, который точно придет вовремя.

— Может, она ошиблась адресом, — сказала ясновидящая. — Или это спектральная проекция более ранней, молодой версии умершего, например, чьего-то пожилого близкого.

Кэрол, третья женщина из садоводческого клуба, что привела с собой двух внучек, подумала, что дух, возможно, пришел к ней, но промолчала.

Не потому что ей было стыдно, страшно или из чистого суеверия, а потому что ей не хотелось разговаривать с той, кому этот дух мог принадлежать — лучшей подруге детства, Элис: они вместе выросли в Канзасе, затем Элис поступила в колледж, стала хиппи и схватила передоз героином, когда его употребляли почти все и никто толком не знал, что это вообще такое. В детстве Элис всегда была красивее Кэрол. Мать Кэрол перед ней лебезила и громко восторгалась ее длинными светлыми волосами, а Кэрол наказывала меньше есть и быть скромнее. Из-за этого Кэрол ошибочно полагала, что быть девочкой теперь стало проще, гораздо проще, чем когда она росла в Канзасе и ее ругали за восьмой размер одежды. Кэрол попыталась представить, какой Элис была бы сейчас: старой и изможденной, с желтыми ногтями, морщинистой кожей и совсем без зубов. Кэрол подумала, что будет нечестно, если дух Элис останется молодым навсегда, поэтому надеялась, что это не Элис, а чей-то чужой фантом — друг или родственник, случайно забредший в этот дом, или, на худой конец, что все это неправда и на самом деле в комнате нет никаких духов.

— Она подзывает кого-то еще, — сказала ясновидящая. — Нескольких молодых людей.

Стадо вечно влюбленных поклонников, подумала Кэрол.

Это те, кого я убил, подумал Сэм, парень с короткой стрижкой.

— Думаю, они все братья, — сказала ясновидящая. — Но они не говорят по-английски. Может, они для этого позвали девушку. Она передает им информацию. Минуту, пожалуйста. Пожалуйста, помолчите, пока я пытаюсь войти в контакт.

Лилиан заерзала от волнения: это могли быть ее крестьянские родственники-иммигранты.

Стало совсем тихо. Оливия, младшая внучка Кэрол, прислушивалась, как бегают по стволам кедров белки, и наблюдала, как рыжий солнечный свет преломляется в полиэстеровых занавесках. Дом ясновидящей казался ей таким податливым и кривым, будто служил лишь временным убежищем до того, как его захватит природа и хлипкий каркас уступит место деревьям, виноградным лозам, лесным животным и самой земле.

Лилиан, хозяйка садоводческого клуба, глава всех пенсионерок и самая красивая среди своих подружек из Бенда, была из тех зрелых женщин, что выглядят моложе своих лет и могут стать идеальными кандидатами для рекламы дорогого

крема для век. Она была в предвкушении. Вот они, — подумала она. — Парни пришли сказать, что я истинная дочь их народа. Именно эту легенду Лилиан любила рассказывать о себе: что происходит она из древнего орегонского рода, а до этого — из крепких французских крестьян, которые все имели умные головы на плечах и родились под счастливой звездой. Такая родословная подкрепляла ее авторитет в собственных глазах, и окружающие, особенно пожилые люди, находили ее историю весьма захватывающей и по-настоящему американской. Но внучки ее подруги Кэрол, приехавшие из Сиэтла, решили, что эта история, которую Лилиан рассказала им по дороге, крайне скучна и довольно отвратительна, особенно старшая внучка-подросток Иззи: она не могла отделаться от мысли, что, несмотря на жалобы старшего поколения на молодежь, пропадающую в компьютерах, именно пожилые склонны находиться в плену своих собственных фантазий и закрывать глаза на реальность. Именно пожилые люди, такие как Лилиан и ее бабушка Кэрол, да и большинство обеспеченных пенсионеров, из раза в раз рассказывали одни и те же легенды о своем происхождении, независимо от того, насколько эти легенды были правдивы.

И эти легенды всегда выставляли их в выгодном свете. Взять, например, глупую историю Лилиан о французских предках. В глазах садоводческого клуба она стала одновременно утонченной, экзотической и настоящей американкой.

Иззи догадалась, что задумала Лилиан, когда уговорила ее бабушку Кэрол и их невротичную подружку Филлис посетить ясновидящую и связаться с мертвыми. Вся эта поездка из Бенда должна была быть посвящена Лилиан — тому, как она хороша, весела и шикарна.

Люди не меняются, думала Иззи. Друзья — это всегда конкуренты, которые лишь изображают сострадание. Ее бедная чудаковатая бабушка чувствовала себя не лучше, чем младшая сестра Иззи, Оливия, в свой первый день в восьмом классе. Иззи представила бабушку Кэрол, одетую в католическую школьную форму Оливии, и мысленно рассмеялась.

Анну и Клиффа, плачущую пару из Портленда, все игнорировали: они уже нашли то, зачем сюда пришли.

Сэм, парень с короткой стрижкой, поразил всех своим вопросом:

— На каком языке они говорят?

— Братья-иностранцы? — спросила ясновидя-

щая. — Не знаю.

— Можете их спросить? — сказал Сэм.

— Давайте я попробую узнать у девушки, — сказала ясновидящая. — Она кажется более восприимчивой.

— Что на них надето? — В голосе Сэма послышалось нетерпение.

— Минуту, — сказала ясновидящая. — Я смотрю. Знаете, это непросто. Словно пытаешься разглядеть что-то в песчаной буре и расслышать сквозь порывы ветра.

Единственную мертвую девушку с длинными светлыми волосами, которую знала Иззи, звали Фелиция: ее мать работала на ферме во Фресно и надышалась пестицидами во время беременности, из-за чего, вероятно, ее дочь в детстве заболела раком и в итоге умерла. Когда за год до окончания школы Фелиция потеряла все волосы, то надела длинный светлый парик, и подруги во время обеденной перемены заплетали ей косички и закалывали пластиковыми заколками — словно подписывали гипс на сломанной руке. Иззи была не очень хорошо знакома с Фелицией. Та была подругой ее подруги. Они тусовались в одних компаниях и знали друг друга, но, когда Фелиция в последний раз легла в больницу, Иззи

не пришла ее навестить. Поэтому для нее смерть Фелиции оказалась чем-то вроде трагедии, увиденной по телевизору: она знала, что случилось нечто ужасное, но это не принесло ей настоящих страданий. После смерти Фелиции Иззи купила огромную безразмерную футболку с надписью “ПОКОЙСЯ С МИРОМ ФЕЛИЦИЯ” и большой цветной фотографией в размытой рамке на спине — портрет Фелиции со светлыми длинными волосами.

Иззи не сказала, что невостребованным духом может быть Фелиция, потому что не верила в духов. Однако ведьмовская эстетика была ей по душе, и Иззи с завистью смотрела на шелковую повязку ясновидящей, раздумывая, как бы найти такую в интернете.

В отличие от Иззи, которая отказывалась верить ясновидящей, ее младшая сестра Оливия обнаружила, что происходящее в этом доме все больше ее завораживает. Не потому, что она действительно верила в магию, а потому, что наблюдать за людьми, которые хватают и присваивают себе каждого мертвого, описанного ясновидящей, было ужасно странно. Это напомнило ей о том, как ее кузина Лиза выходила замуж. Та бросила букет невесты в толпу

женщин, которые сначала одновременно за ним кинулись, а затем закричали и засмеялись, будто что-то выиграли, и Оливия знала, что так оно и было или, по крайней мере, предполагалось: букет предсказывал скорое предложение руки и сердца. Но Оливию интересовало не это. На свадьбе ее привлекал шум и то, как толпа раскачивалась из стороны в сторону вслед за невестой, ожидая броска. Наконец-то, подумала Оливия, когда цветы все-таки взлетели в воздух. В доме ясновидящей происходило нечто похожее. Только на этот раз каждому достанется свой букет.

— Так что, никто не узнает девушку со светлыми волосами? — повторила ясновидящая.

— Вам не удалось распознать язык? — спросил Сэм.

— Я этого языка не знаю, — сказала ясновидящая. — Может, он древний.

— А много ли вы знаете языков? — спросил Сэм.

— Не очень.

Сэм был заметно раздражен ее ответом, но его общее спокойствие не пошатнулось. Оливия подумала, что он, вероятно, служит в армии. У него была подходящая стрижка и гладко выбритое лицо, а сам он держался весьма скромно: явно

привык исполнять указания, и его мало заботило то, что происходит за пределами его собственной головы. К тому же Оливия знала, что в этой части Орегона много молодых военных. Парней, которые в лучшем случае только окончили школу, — парней, которые искали себе достойное занятие.

Оливия (на три года младше своей сестры, а значит, самая младшая в трейлере) отметила, что на лицах присутствующих застыло оживление. Даже Анна и Клифф, несмотря на траур, были очень внимательны, Лилиан с нетерпением ждала прибытия своих родственников, Филлис выжидательно пыхтела, а Иззи и бабушка Кэрол оглядывались на остальных, ожидая, кто же следующим восстанет из могилы. Сэм, все еще терпеливый и молчаливый, чуть наклонился вперед, уперся локтями в колени и нахмурил брови, будто вежливо интересуясь, может ли он все-таки присвоить мертвых братьев-иностранцев себе.

— Думаю, это могут быть мои предки, — взволнованно сказала Лилиан. — Они говорят по-французски?

— Нет, — сказала ясновидящая. — Они не говорят по-французски, и это не ваши предки. Они

отрицательно реагируют на вашу энергию.

Лилиан фыркнула, бросила быстрый взгляд на Филлис и возмущенно заморгала.

— Духам все равно, чего вы хотите, — сказала ясновидящая. — Они приходят, только если сами чего-то хотят.

Лилиан скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула, всем своим видом будто говоря: что за хрень! Если я говорю, что они мои предки, значит, так оно и есть! Кто дал тебе право говорить, кому принадлежат эти духи?

— Кажется, им что-то нужно от вас, — сказала ясновидящая, глядя на Сэма. — Они кружат вокруг вас, что-то кричат. Один только что пытался ткнуть пальцем вам в ухо.

— Какого хрена, — сказал Сэм. — Уберите их от меня.

— Не могу, — сказала ясновидящая. — Может, вам лучше лечь, чтобы они могли вас как следует оценить.

— Я что, собака? — сказал Сэм.

— Вам не обязательно этого делать, — сказала ясновидящая.

— Я лягу, — сказал Сэм.

Сэм встал со складного стула и лег на ковер в центре круга. Ясновидящая взяла пучок шалфея,

подожгла его и помахала над его головой. Тот закрыл глаза и раскинул руки и ноги, остальные молча наблюдали за представлением. Оливии показалось, что Сэм умер.

Сэм не был уверен, что убил этих парней. Он уже убивал на войне, но до этого всегда видел тела, осматривал трупы и думал: вот существо, которое раньше было живо, а теперь мертво. Но с этими парнями уверенности не было. Это произошло на большом расстоянии, с применением взрывчатки. Раздался грохот, и в воздух взмыло нечто, похожее на тела, но были ли они мертвы, он не знал. Он не знал, были ли они братьями. Были ли солдатами. Это были просто парни, как он сам. Они постоянно являлись ему во снах: то их были сотни, то всего двое или трое, — иногда в его снах они выживали, выздоравливали и ехали в горы разгружать и загружать продукты в кузовы машин, а иногда они все же умирали. Как-то во сне он стал одним из мертвых парней, его положили в глубокую яму и начали засыпать землей, пока все вокруг не почернело и он не перестал видеть. Таким образом, появились две реальности: где парни остались живы и где они умерли, — Сэм застрял где-то между, поэтому очень хотел выяснить правду. В этом ему и по-

могла ясновидящая: он узнал, что парни точно умерли.

Именно за этим он пришел и был очень рад это получить. Лежа на полу и вдыхая шалфейный дым, он чувствовал, как мышцы прижимаются к теплому ковру, а некоторые части тела, например кожа под коленями и лодыжки, не касаются пола, потому что так устроено его тело.

— Пожалуйста, все повторяйте за мной, — сказала ясновидящая. — М-м-м-м-м.

Анна энергично замычала, Клифф последовал ее примеру, Оливия и Филлис охотно подхватили, а Кэрол и Лилиан присоединились не сразу. Гул их голосов напоминал пчелиное жужжание. Они продолжали достаточно долго, пока ясновидящая не замолчала, а затем не остановила и остальных. Тогда Сэм вернулся на свой стул.

Дым от шалфея заполнил собой дом, а голоса присутствующих огрубели от долгого мычания. В наступившей тишине каждый вдруг почувствовал единение с другими, ведь они только что вместе помогли Сэму решить его проблему. Они не вполне понимали, что конкретно сделали, но вместе создавать шум было приятно. Вот почему, подумал Клифф, людям нравится петь.

Все еще не открывая глаз, ясновидящая ска-

зала:

— Кот. Обычно по субботам я не пускаю животных, но ты ведь не местная, Оливия? Тебе будет слишком сложно приехать сюда еще раз.

— Спасибо, — сказала Оливия. Ей было приятно, что ясновидящая не позволила остальным присвоить себе Котелка, соседского котенка, которого она приютила в начале года. Меньше чем через неделю его сбила машина.

Кэрол выглядела удивленной. Она взяла с собой внучек потому, что Лилиан давно хотела сходить к ясновидящей: Лилиан с Кэрол были своего рода дуэтом, и Лилиан несколько недель умоляла Кэрол к ней присоединиться, а той нравилось, когда ее умоляют. Поэтому, хоть сама Кэрол особо не верила в духов и не собиралась ни с кем контактировать, она все равно поехала к ясновидящей и потащила с собой внучек, приехавших в гости из другого города. Но теперь все казалось ей каким-то глупым, и дела шли из рук вон плохо: Лилиан не встретилась со своими французскими родственниками, глупышка Филлис была в восторге, а ее внучка Оливия начала бредить и гладить воображаемую кошку. Кэрол подумала, что ее дочь, мать девочек, никогда ей этого не простит. Подумать только! Она буквально отвела

их в секту. Иззи была настроена более скептично, это успокаивало. Но кто разберет, что на самом деле творится в головах ее загадочных внучек.

— Бред собачий! — сказала Иззи. — Мало, что ли, четырнадцатилеток, у которых хоть раз в жизни умирала кошка?

Лилиан и Кэрол согласно кивнули. Остальные проигнорировали Иззи, а ясновидящая даже не взглянула в ее сторону. Филлис выглядела растерянной.

Анна и Клифф все так же сидели, прижавшись друг к другу на дальнем конце круга, почти напротив ясновидящей. Клифф придерживал Анну, а та периодически касалась спящей у ее ног Вильмы. Каждый раз, когда Клифф это видел, ему становилось больно. Будто каждый раз кто-то наносил ему удар, напоминая, как бесполезны его попытки заполнить зияющую дыру в душе его жены и что, каким бы стойким он ни был, помочь Анне он не имел ни малейшей возможности. Клифф надеялся, что Анна никогда не попросит его вернуться с ней в этот трейлер. Что в следующий раз, если ей захочется, она сможет приехать одна.

— Последний дух, которого я впускаю, — сказала ясновидящая. — Старик.

— Бабушка Кэрол, а вдруг это дедушка? — спросила Оливия.

— Нет, это не он, — сказала Кэрол. — Твоему дедушке нечего сказать.

— Думаю, это мой муж, — сказала Филлис.

— Не говори ерунды, — сказала Лилиан. — Твой муж еще жив!

— Так бывает, — сказала ясновидящая. — Некоторые души покидают свои тела постепенно. Может ли быть такое, что ваш муж уже начал переход в следующую жизнь?

— Возможно, — сказала Филлис. — Я редко осознаю, что он еще жив.

— Он говорит, что ненавидит вас, — сказала ясновидящая.

— Что ж, я его тоже ненавижу. — В голосе Филлис послышалось странное удовлетворение.

— Они все уходят, — сказала ясновидящая. — Твоя раненая дочка тоже встает.

Не произнеся ни слова, Анна опустила голову Клиффу на колени.

— И братья-иностранцы, и светловолосая девушка, и старик. Они все уходят сквозь щель, в которую я их впустила. Теперь, чтобы ее закрыть, нам снова нужно взяться за руки.

Все снова собрались в круг и взялись за руки,

они выглядели уставшими, особенно Филлис, Сэм и Анна. Перед выходом ясновидящая опрыскала каждого святой водой, чтобы духи не увязались за ними следом.

Так странно, подумала ясновидящая. Как живые заботятся друг о друге. Но еще страннее, как живые заботятся о своих умерших. Убирая гостиную и собирая складные стулья, она увидела Оливию, склонившуюся над своим мертвым котенком, которого похоронили на заднем дворе под клумбой с цветами. Она увидела смерть мужа Филлис спустя пять лет, как его тело двигается в протестантском похоронном марше. Она увидела подругу детства Кэрол, Элис, со шприцом в фиолетовой руке. Она увидела маленькую раздавленную Вильму в крошечном гробу и воющих от боли братьев-иностранцев, лежащих на земле без ног и истекающих кровью. Их останки нашли спустя много дней и сложили в погребальный курган, словно спрессованные блоки сушеного мяса.

Ясновидящая подумала о множестве способов войти в эту жизнь и покинуть ее. Она подумала о католических бальзамировщиках, готовых ко второму пришествию, готовых по первому зову пробудиться и снова ходить по земле, — у них

застывшие губы и пустой череп, мозг извлекли через нос и положили в отдельный сосуд. Затем ясновидящая подумала о тибетцах, что разрезают тела своих мертвецов на тысячи частей и скармливают стервятникам, как бы скорее возвращая их в божественную систему, чтобы они смогли начать новый жизненный цикл быстрее, чем их останки охладеют в больших птичьих желудках. А еще она подумала об одетых в белое племенах, живущих на берегах Ганга: своих мертвецов они окрашивают в красный и золотой, а затем сжигают и пускают в бурное речное течение. Ясновидящей как-то довелось побывать в Бенаресе и увидеть, как сгорают одно за другим тела. Черное облако дыма от сожженной человеческой плоти покрыло собой весь город. Повсюду стояли люди: кто плакал, а кто пытался держаться, — но все они были одеты в белое, и у всех были цветы. Они пели и молились, а маленький мальчик, который сразу понял, что она не местная, сказал: Иди сюда, *гора,* я покажу тебе мертвых. Ясновидящая задумалась о том, как будет выглядеть ее собственное тело, когда она его покинет, и сразу пожалела, что оно вообще у нее есть, — как женщина иногда жалеет о покупке плохо сидящего платья. Иметь тело, которое служит лишь вре-

менным убежищем, а после будет уничтожено, казалось ей чем-то неподобающим. Она подумала о живых телах, что вышли из ее трейлера всего минутой ранее (Филлис, Кэрол, Лилиан, Иззи, Оливия, Анна, Клифф и Сэм), и представила, как вскрывает их мозговые контейнеры, обнажая то, что на самом деле прячется у них в головах. Она представила, как достает половник и опускает в каждый мозговой сосуд. Она зачерпывает и вытаскивает из глубины их мысли, похожие на липкие и толстые шерстяные нити.

Благодарности

Особую благодарность получают:

Организации:
Издательство A Strange Object
Университет Брауна
Замок Хоторнден
Тент: криэйтив райтинг
Конференция писателей “Лоаф бред”
Фонд Хелен Вурлитцер
Колония Макдауэлл
Школа искусств Рут Асавы в Сан-Франциско
Конференция писателей Севани
Общество Шри Ауробиндо
Университет Вандербильта

Люди:
Эдрианн Харун
Элисон Синклер
Одри Буллвинкел
Крис Коэн
Клей Буллвинкел
Дениз Буллвинкел
Дайан Уильямс

Элана Сигел
Джиллиан Брассил
Джилл Майерс
Джоанна Ховард
Карина Мадд
Кристина Мур
Лора Макмиллан
Лора ван ден Берг
ЛБ + ДжГ
Лорри Мур
Линдси Дрейгер
Мария Андерсон
Мег Уикс
Мишель Уайлджен
Нэнси Райсман
Пэтти Юми Коттрелл
Ралука Альбу
Ребека Бергман
Сэм Липсайт
Саша Уэст

Объекты:

Кабриолет “Мазда Миата” 1990 г. Криса Коэна (любезно предоставленный мне на время с июня по август 2016 г.)

“Живой человек, объявленный мертвым” и “Другие главы, I–XVIII” Тэрин Саймон

Возлюбленные:
Алекс Спото